

Энвэ - псевдоним, наст.имя -

Венкстерн (Перелечко) Наталья Алексеевна (21.10.1891 - 06.09.1957) - писательница, драматург, переводчица.

Родилась в семье писателя и переводчика А.А.Венкстерна, с детства увлекалась литературой и театром, писала рассказы, пьесы.

В 1914-1928 годах работала в ГМИИ помощником библиотекаря.

Пьеса «В 1925 году» была поставлена во МХАТе 2-ом к 100-летию восстания декабристов, на основе инсценировок во МХАТе были поставлены спектакли «Пиквикский клуб», «Домби и сын», «Вторая любовь» (совместно с Мальцевым).

В расчете на молодых актеров МХАТ была написана пьеса «Вторая любовь» - инсценировка романа Елизара Мальцева «От всего сердца» из колхозной жизни (1950). В том же году ее поставила в Театре им. Ленинского комсомола Гиацинтова.

Источник:

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VENKSTERN_Natal'ya_Alekseevna/_Venkstern_N.A..html

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

I. Первое знакомство

II. Рассказ Христиана Форжа

III. Седан

IV. У границ Бельгии

V. «Правительство измены»

VI. Снова в Париже

VII. Пауки и мухи

VIII. На пути к неизбежному

IX. На скользком пути

X. Ночь под 18-е марта

XI. В Версале

XII. Предатель

XIII. Через труп товарища

XIV. Тяжелое протрезвление

XV. Бессмертие обреченных

XVI. Мечь коммунара

о Парижской коммуне - документы, исследования, мемуары, публицистика, пьесы, стихотворения, романы, живопись и графика, радиопередачи и фильмы
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm#commune

ПРЕДИСЛОВИЕ

Полвека тому назад было провозглашено первое в истории рабочее правительство — Парижская Коммуна. Заслуга коммунаров велика, их героический пример до сих пор живет в сердцах русских рабочих.

Как возникла эта Коммуна, что она сделала, как погибла—вся история ее до сих пор интересна и волнует каждого. Ее мы и постараемся рассказать здесь.

Парижской Коммуне предшествовала империя Наполеона III—время отчаянной реакции, с одной стороны, и все усиливающейся оппозиции, с другой. Главной опорой трона являлось чиновничество „с блестящим мундиром и большим окладом“ и духовенство. Духовенство должно было внушать крестьянам и рабочим уважение к империи и воспитать массу в божеской покорности. Никогда не отпускалось столько средств на нужды церкви, никогда не строилось столько церквей, как в царствование Наполеона III. Подкупленная церковь налагала свои руки даже на просвещение: она руководила просвещением народных масс. Была введена строгая цен-

зура на газеты, ужасный шпионаж душил всякое проявление свободной мысли, в университетах запрещалось преподавание истории и философии, всякие стачки и волнения подавлялись с беспощадной жестокостью.

Но волна недовольства росла с каждым днем, и уже не хватало сил у прогнившей империи, чтобы сдержать революционный поток.

Причину роста революционного протеста прежде всего надо было искать в обнищании масс и в обогащении за их счет буржуазии. Империя Наполеона III совпала с расцветом торговли и промышленности и невиданным до сих пор обогащением буржуазии. Машина вытесняла ручной ремесленный труд. Мелкая и отчасти средняя буржуазия разорялась, и это обстоятельство делало ее республиканской.

Итак, ряды недовольных увеличивались.

Главным оплотом республиканских идей был, без сомнения, рабочий класс. Рабочие не забыли кровавой расправы с ними в 48-ом году и затаили месть и злобу до другой более удачной вспышки.

Уже с 60-х годов в рабочих кругах чувствуется большое оживление—с одной стороны, все большее сплочение рабочих масс, с другой—все усиливающиеся стачки и волнения.

Тяжелое материальное положение толкает рабочего на борьбу. Часть рабочих примыкает к кружкам прудонистов. Эти кружки охотно поощрялись правительством Наполеона III. Ведь они затушевывали классовые проти-

воречия капиталистического общества, направляя внимание рабочих на организацию кооперативных и просветительных объединений. Но революционно настроенных рабочих не могла удовлетворить эта мирная деятельность. Империя толкала их в лагерь бланкистов. Бланкисты не стремились к широкой массовой организации, а пытались произвести политический переворот путем восстания, тайно подготавливаемого в многочисленных заговорщических кружках.

Таким образом, накануне Парижской Коммуны пролетариат, враждебно настроенный к империи, все же не имел ни опыта, ни стойких вождей, ни широких организаций. Это обстоятельство, как мы увидим ниже, было одной из причин неудачи Парижской Коммуны.

Итак, недовольство росло; оно подрывало корни империи, империя трещала по всем швам. Чтобы спасти положение, Наполеон III бросается в франко-прусскую войну. Нужно было вызвать патриотический подъем, возродить славу французского оружия, создать выгодные предприятия для отечественной буржуазии—и тем самым сохранить и упрочить свое положение. Министры Наполеона III уверяли, что „мы готовы к войне, пять раз готовы, и во время кампании не будем нуждаться ни в одной пуговке для штиблет“. На деле же Франция оказалась неподготовленной к этой войне. Ложное представление о своих силах и силах противника, неопытность и небрежное отношение генералов, полнейшее незнание карты своей страны, продажность и беспорядок в интендантстве,—все это решило участь империи.

Военные неудачи следовали одна за другой, а 2-ое сентября—поражение под Седаном—вызвало взрыв возмущения в народных массах. 4-го сентября уже провозглашена республика. Патриотический подъем, охвативший пролетариат и буржуазию, на время объединяет их. Создается буржуазное правительство „национальной обороны“,—пролетариат обманывает себя надеждой, он верит в возможность победы над пруссаками под руководством буржуазного правительства. Но эти иллюзии скоро разбиваются. Четырехмесячная осада города, полная остановка хозяйственной жизни, массовая безработица, голод, лишения, эпидемии; горькое разочарование в правительстве „национальной измены“, которое сознательно шло на поражение, ибо за недостатком регулярных войск успешная оборона Парижа была возможна только при вооружении и обучении военному искусству парижских рабочих, а для правительства национальной обороны вооруженный пролетарий и ремесленник был самым опасным врагом: его правительство боялось больше чем пруссаков.

Вражда между правительством, состоявшим почти поголовно из буржуа, и пролетариатом не замедлила проявиться. 31-го октября пролетариат делает попытку свергнуть правительство: толпа, ворвавшись в думу, арестовывает несколько членов правительства, но к вечеру восстание подавляется.

Вторая попытка восстания—22-го января—тоже окончилась неудачей.

Наконец, измученный голодом Париж должен был сдать 28-го января 1871 года. Часть города была занята немецкими войсками. Для заключения мира созвано было Национальное Собрание—новый удар для парижского пролетариата. Вся деревенская Франция жаждала прекращения этой бессцельной войны, и сторонники правительства, так безудержно стремившегося замирился с пруссаками, должны были получить громадное большинство на депутатских скамьях. Надо также принять во внимание, что парижане, блокированные в эти дни кольцом пруссаков, были лишены возможности сношения с другими городами Франции и как-нибудь повлиять на ход этих выборов „военного образца“. Невежественное, политически отсталое крестьянство послало в Национальное Собрание монархистов. Последние оказались в большинстве. Главой правительства назначается Тьер, бывший министр короля Луи-Филиппа, человек, достойный только ненависти и презрения; вся его жизнь полна непрерывными провокациями, гнусными подлостями, подлостями, доходящими до продажности и казнокрадства и ярко выраженной ненависти ко всему, даже умеренно-революционному.

Итак, республика в опасности.

Национальное Собрание заседает в Версале, и декреты его больно бьют по измученному трудовому населению Парижа. У национальной гвардии отнимается ее жалкое вознаграждение. Освобожденные от платы на все время осады квартиранты обязываются немедленно внести плату

за квартиру под угрозой выселения. Заставлять платить тех, кто выдержал ужасы осады, было, по меньшей мере, несправедливо,—громадное большинство должно было быть выброшено на улицу из занятых квартир. Дальше, Национальное Собрание издает декрет об уплате по всем вексялям, просроченным с 13-го августа 1870 г. по случаю войны.

Тут уже к общему крику негодования присоединяется средняя и мелкая буржуазия. Это постановление осуждало на банкротство тысячи ремесленников, мелких и средних торговцев и фабрикантов. Теперь не только рабочие, но и мелкая буржуазия видят спасение в Коммуне.

Рабочие еще не решаются поднять восстание, но правительство само ускоряет революцию.

Тьер, глава нового правительства, видит, что пока рабочие будут вооружены—парижская буржуазия не сможет спокойно наживать свои барыши. Национальная гвардия должна быть обезоружена во что бы то ни стало. Отнять сейчас же ружья у рабочих—трудно, сперва надо попытаться отнять у них артиллерию. Пушки—краса и гордость парижских рабочих. Они отлили их во время осады, на деньги, собранные среди населения. Правительство намеренно оставило эти пушки в тех кварталах, которые должны были занять немцы; но гвардейцы успели вывезти эти пушки, и они стоят теперь под охраной национальной гвардии.

18-го марта Тьер пытается захватить артиллерию, но безуспешно. Весь Париж поголовно взялся за оружие, и

правительству Тьера с его войсками не оставалось ничего иного, как бежать в Версаль.

К вечеру в городе не было никакой власти. Центральный Комитет национальной гвардии собрался в городской думе—решено было сохранить за собой думу, пока не будет избрана Коммуна.

Родилась новая власть.

„Первый город в мире,—писал Арну, один из участников Коммуны,—принадлежал неизвестным людям. В ратуше заседало безыменное правительство, состоявшее исключительно из простых рабочих или мелких чиновников, три четверти которых не были известны дальше их улицы или мастерской. Традиция была нарушена“.

26-го марта была выбрана, а 28-го провозглашена Парижская Коммуна. Начиналась недолгая, но всегда памятная рабочему классу, история Коммуны.

Она просуществовала всего лишь 72 дня, но она сделала многое; только теперь, через 50 лет, русские рабочие смогли осуществить то, что робко и несмело было намечено уже в те дни

В декрете Коммуны от 16-го апреля о передаче рабочим ассоциациям фабрик и заводов, покинутых владельцами, мы видим зародыш нашей национализации промышленности. В ее декретах об отделении церкви от государства и о конфискации церковного имущества мы видим прообраз тех мер в этой области, которые более решительно и широко провела Советская власть в отношении к церкви. В героических защитниках Коммуны

мы узнаем предшественников нашей красной гвардии; в самой организации рабочей власти мы видим прообраз нашей республики советов.

Коммуне приходилось работать в тяжелых условиях. Государственный аппарат был совершенно дезорганизован Тьером, многие служащие государственных учреждений бежали в Версаль вместе с Тьером, а те, что остались, саботировали.

Коммуне приходилось почти заново строить весь государственный механизм, преодолевая огромные препятствия. И, тем не менее, каждый день новый декрет вносил что-либо новое в жизнь,—несмотря на огромные трудности, строилась новая жизнь.

30-го марта уничтожена постоянная армия, и национальная гвардия была объявлена единственной вооруженной силой, при чем в состав национальной гвардии входили все, способные носить оружие; в тот же день Коммуна отменила квартирную плату с октября 1870 г. по апрель 1871 года; она приостановила продажу вещей, заложенных в ломбарде. 1-го апреля был установлен максимальный оклад чиновникам, не превышающий заработка рабочего.

Уничтожив постоянное войско и полицию—эти два главных оплота старого правительства, Коммуна приступила к сокрушению власти духовенства, этого орудия духовного порабощения народа. Она декретировала закрытие всех церквей и конфискацию всего церковного имущества. В школах были удалены все религиозные символы—образа, молигвы. Школьное образование было

объявлено бесплатным; оно стало доступным всем. С науки были сняты оковы, наложенные веками.

5-го апреля, ввиду расстрела версальскими войсками пленных коммунаров, был издан декрет об аресте заложников. 6-го апреля, при всеобщем ликовании, была публично сожжена гильотина. 12-го апреля Коммуна приостановила уплату по просроченным векселям. 16-го апреля издается декрет о передаче рабочим фабрик и заводов, покинутых владельцами. 20-го апреля был отменен ночной труд булочников и учреждены биржи труда вместо прежних контор для приискания работы, которые только эксплуатировали рабочих. 30-го апреля уничтожены ссудные кассы.

Все эти меры проводятся Коммуной недостаточно четко. И понятно почему. Осажденный и изолированный от всей Франции Париж мог сделать только первые шаги, вынужденный направить все свои усилия на борьбу со все возрастающей армией версальского правительства.

Правительство Тьера, выпущенное Коммуной из Парижа, медленно, но успешно собирало вокруг себя враждебные силы. Клеветой и ненавистью оно отравляло провинцию, отрезав ее от восставшего Парижа.

„Не бойтесь,—говорит в одном воззвании Тьер буржуазии,—мы не поддадимся душевной слабости и не допустим мира с виновными, что голько ухудшило бы зло“.

Тьер решил окончательно разделаться с мятежниками и принялся за построение армии по всем правилам военного искусства. Тут на помощь Тьеру пришло прусское

правительство — возвратом всех военнопленных в целях подавления пролетарского восстания. Собрав около 130-ти тысяч войска, Тьер решил наступать.

Война началась. Что же сделала Коммуна для обороны? Коммуне надо было бы завладеть провинцией, зажечь пожар революции там, связавшись со всей страной тысячами нитей. Она пыталась разрешить эту задачу, но безуспешно. Слишком слаба была связь с провинцией и ничтожны средства. Восстания в Лионе, Тулузе, Марсели и в других городах не были поддержаны коммунарами и потому были обречены на неудачу. Не было организатора во главе этого движения, не было общего плана. Коммуна не сделала также ничего, чтобы связаться с западно-европейскими рабочими.

Что касается военной организации, то и здесь дело обстояло несколько не лучше. Длительная осада, мартовская революция не могли не отразиться на боеспособности национальной гвардии. Старая дисциплина, связанная с именами ненавистных генералов, расшаталась, а новая еще не успела укрепиться. И солдаты, не спаянные дисциплиной, предоставленные себе, не слушались приказаний начальства, расходились по домам, распыляя силы Коммуны.

Падению дисциплины в войсках содействовало еще и то обстоятельство, что отряды сражавшихся против версальцев часто совсем не получали необходимых директив из центра, — в центре до сих пор не был выработан общий план действия.

В области военной больше, чем во всякой другой, ощущался недостаток специалистов, преданных Коммуне. Несомненной ошибкой Коммуны является неумение выдвинуть из пролетарской среды защитников, людей, способных взять на себя организацию армии и руководство обороной.

Дело в том, что в эту эпоху во Франции не существовало всеобщей воинской повинности, так что лишь ничтожная часть взрослого мужского населения получала элементарную военную подготовку.

Версальцы вступали в Париж, а Коммуна не имела плана обороны.

После неудачной вылазки парижан 3—4 апреля, версальская армия день за днем продвигалась вперед, выбивая коммунаров из укрепленных позиций. Постепенно вокруг Парижа сжимается кольцо блокады. Те же люди, которые в свое время клеймили бомбардировку Парижа пруссаками, как святотатство, бомбардировали Париж сами.

21-го мая, около 3-х часов дня, вследствие нерадивости стоявшей здесь национальной гвардии, отряд версальцев ворвался в Париж через никем не охраняемые ворота Сен-Клу. Эти ворота указал версальцам один из шпионов Тьера, „получивший потом орден почетного легиона и 120 тысяч франков, собранных по подписке благодарной буржуазии“.

Итак, брешь была пробита: версальцы находились в Париже. Но 130-тысячной версальской армии понадоби-

лась целая неделя, чтобы разбить революцию в уличных боях.

Войдя в Париж с западной стороны, версальцы прежде всего заняли расположенные в этой части буржуазные кварталы. Эта часть города защищалась слабо. Но сопротивление становилось тем упорнее и сильнее, чем больше войска продвигались в восточную часть Парижа, в рабочий город. Здесь, на твердых революция, борьба достигла своего апогея. „Здесь сплотились все, кто хотел защищать до конца пролетарскую революцию. Это была поистине классовая битва! Отстаивая последнее прибежище Коммуны, свои жилища, свои фабрики, заводы, эти несколько тысяч храбрецов дрались с необычайным упорством: вынужденные отступить с одной баррикады, они переходили на следующую, чтобы с той же энергией встретить врага“.

В борьбе принимали участие женщины, дети. Женский батальон под командой Луизы Мишель проявлял чудеса храбрости. Когда выяснилась неминуемая гибель Коммуны, многие ее члены пошли сознательно навстречу смерти,—слишком тяжело было чувствовать себя жертвой реакции. Ряды коммунаров таяли, баррикады были завалены горами трупов из защитников. „Последнюю баррикаду на улице Рампонно защищал в течение 15 минут один федерат“ (коммунар).

Версальцы могли торжествовать победу. Буржуазная пресса требовала беспощадной мести. И действительно, в течение майской недели Париж был превращен в бойню.

Убийство безоружных женщин, мужчин и детей достигло теперь своего апогея. „Ружья действовали недостаточно быстро, зато митральезы убивали целые сотни зараз. Стена федератов, т.е. коммунаров, на кладбище Père Lachaise, где произошло последнее избиение, стоит и теперь, как немой, но многоговорящий свидетель бешенства, охватывающего господствующий класс, когда пролетариат решает выступить в защиту своих прав“.

Если мы к 30-ти тысячам убитых мужчин, женщин и детей прибавим еще арестованных и эмигрантов, то выйдет, что Париж, преимущественно рабочий Париж, потерял 70 тысяч человек. Буржуазия жестоко отомстила рабочим за то, что они осмелились стать свободными.

Нельзя объяснить падение Коммуны исключительно слабостью ее военной организации. Основную причину ее падения следует искать в слабости самого пролетариата, который не смог выдвинуть из своей среды достаточное количество гражданских и военных организаторов, прошедших тяжелую школу рабочего крупной капиталистической фабрики. Такие преданные революции бойцы сделали бы Коммуну непобедимой в гражданской войне.

Парижские рабочие подошли к власти раньше, чем организовались в свою классовую партию. Только коммунистическая партия, опирающаяся на массовые рабочие организации и выработавшая цельную точно-обоснованную программу, могла бы привести Коммуну к победе.

Только коммунистическая партия через свои классовые профессиональные союзы смогла бы выделить работ-

ников, способных организовать хозяйство страны на социалистических началах.

Кто руководил революцией в 1871 г.?

Парижские секции Интернационала.

Будучи слабо связанными и не имея единой программы и тактики, они не смогли взять на себя руководство революционным восстанием рабочих.

Массы шли за прудонистами, не осознав неизбежности диктатуры пролетариата, шли за бланкистами, не понимая необходимости экономических преобразований.

В составе Совета Коммуны интернационалисты оказались в меньшинстве, и это должно было с неизбежной гибелью отразиться на прочности рабочего правительства.

Коммуна была бы непобедима, если бы Совет Коммуны являлся не только рабочим правительством, но осуществлял бы диктатуру восставших.

Коммуна пала. Основной причиной ее падения является отсутствие самостоятельной, единой и монолитной классовой партии. Победа пролетарской революции не может быть прочной, если рабочее правительство не опирается на крепко сплоченную коммунистическую партию, имеющую последовательную революционную тактику и руководящую всем движением.

Парижские рабочие подошли к власти раньше, чем соорганизовались в свою классовую партию.

Коммуна была бы непобедима, если бы Совет Коммуны являлся не только рабочим правительством, но осуществлял бы диктатуру восставших.

Нерешительность Коммуны имела последствием ничем неоправданную гуманность по отношению к своим палачам. Декрет Коммуны об аресте заложников не был никогда полностью приведен в исполнение. В то время, как Тьер наводнял Париж и окрестности его своими шпионами, Коммуна не имела даже специальной организации по борьбе со шпионажем и внутренней контрреволюцией. Все это об'яснялось политической незрелостью парижских рабочих.

Этим же об'ясняется и сам состав Коммуны. Она об'единяла и сторонников мелко-буржуазного анархиста Прудона, и заговорщиков-революционеров бланкистов, и массы беспартийных рабочих. Отсюда ясны и отсутствие у коммунаров определенной программы, и нерешительность, и непоследовательность их социалистического строительства.

Вторым фактором, оказавшим влияние на исход Коммуны, была оторванность Коммуны от крестьянства. Эта ошибка с поразительной ясностью и четкостью учтена большевиками-коммунистами во главе с В. И. Лениным в великом октябре 1917 г.—в России.

Коммуна парижских пролетариев была окружена французской „деревенщиной“—кулачем, которое нажило на войне. Между революционными рабочими Парижа и трудящимися деревни стояла стена версальских штыков, подпираемая деревенским невежеством.

А в стране с преобладающим земледельческим населением, каковой была Франция во времена Коммуны, по-

беда пролетарской революции невозможна без союза городских рабочих с пролетарскими массами деревни. В аграрной программе, которую выдвинули коммунары, они не забыли деревенской бедноты. Лозунги—земля тем, кто ее обрабатывает, уничтожение суда, чиновничества, податной системы, уничтожение зависимости крестьян от банкира,—все это могло заинтересовать деревню и вовлечь ее в борьбу. Коммунарам не удалось развернуть агитации в деревне, и крестьянская Франция оказалась отрезанной от Парижа.

Недоверчивое и враждебное отношение к революционному Парижу, которое гнезилось в крестьянских массах во время выборов в Национальное Собрание, еще больше усилилось под давлением агитации Тьера и буржуазных газет.

Крестьянство поверило лживым слухам, распускаемым версальским правительством, и не подало руку парижскому рабочему в решительный момент.

Пролетарская революция 1871 года потерпела крушение еще и потому, что она не могла ограничиться одной страной; необходима была поддержка пролетариев других стран для того, чтобы завоевания революции были прочны.

Рабочие Америки и Европы вынуждены были довольствоваться скудными искаженными сведениями буржуазных газет о том, что происходило в революционном Париже.

Итак, отсутствие единой классовой партии, неорганизованность пролетариата, отрезанность от крестьянства,

отсутствие связи с рабочими других стран,—все это причины падения Коммуны.

В эпоху Коммуны Франция отнюдь не была страной крупной машинной промышленности, мелкое ремесленное производство было еще очень развито, особенно в Париже. Не надо забывать что крупное машинное производство создает кадры индустриального пролетариата. Эта-то слабость капиталистического развития тогдашней Франции и сыграла большую роль в судьбе первой пролетарской революции.

Ошибки Коммуны велики, но это не уменьшает ее значения для нас. Исторический смысл Парижской Коммуны заключается в том, что она является первой попыткой рабочей революции, первой попыткой пролетариата дать буржуазии генеральное сражение.

Традиции Коммуны сыграли огромную роль в истории рабочего движения. На опыте Коммуны училось не одно поколение рабочих. На нем учились русские коммунисты. Все ошибки Парижской Коммуны были учтены большевиками-коммунистами в октябре 1917 г. в России.

А потому ясно, что история Коммуны до сих пор не потеряла своего интереса и до сих пор подлежит самому внимательному изучению.

„Рабочий класс должен знать и ценить свое прошлое, историю своих классовых битв, которые привели его к генеральному сражению с мировым капиталом“.

Прошло 50 лет, и эти годы не прошли даром. Коммуна российских рабочих и крестьян сумела избежать ошибок Парижской Коммуны.

„История одного коммунара“ — только маленький незаметный эпизод в этом вихре революционной борьбы. После всего, что было нами сказано об отсутствии связи между парижскими рабочими и крестьянством, чигатель без труда поймет причину столь длительных колебаний молодого крестьянина Дезире. Война вырвала его из привычной сельской жизни и бросила в обстановку продажности, лжи, корысти и ненависти.

Случайное знакомство с парижскими рабочими и сильная любовь к молодой работнице не смогли сразу переродить этого колеблющегося, растерявшегося человека.

Опутанный хитрой ложью своего лейтенанта, он бросает Париж, друзей и невесту и бежит в Версаль вместе с жандармами Тьера.

Вступив на путь преступлений, он незаметно для самого себя опускается на самое дно, предавая своего друга в руки беспощадных версальцев.

Но здоровый пролетарский инстинкт берет верх: Дезире дезертирует, бежит в Париж и, примирившись со своими друзьями, умирает, честно защищая одну из последних баррикад Парижа.

Нам кажется, что эта попытка автора дать художественную картину неизбежности союза рабочего и крестьянина, несмотря на все ухищрения их общего классового врага — буржуазии, может рассчитывать на вполне заслуженный интерес со стороны современной молодежи.

Л. Онег

ИСТОРИЯ ОДНОГО КОММУНАРА.

ГЛАВА I

Первое знакомство

Франция устала, бесконечно устала от двадцатилетней тирании третьего Наполеона. Давно угасли те надежды, которые так ярко вспыхнули в сознании рабочего класса в 48-м году. Их сменила мрачная реакция. Политические и финансовые авантюристы, составлявшие императорский двор, высшее духовенство и чиновники наложили свои алчные руки на народное достояние страны и, не брезгуя способами, хищнически обогащались за счет обнищания остальной Франции. Но чем сильнее был гнет, тем решительнее было противодействие закаленных на баррикадах 48-го года парижских рабочих. К середине семидесятого года классовая борьба настолько обострилась, что император явственно почувствовал подземные удары, колебавшие трон. Наполеон, все более терявший из-под ног почву в борьбе с Интернационалом, враждебной прессой и рабочими ассоциациями, стремился разря-

дять народный гнев призывом к национальной борьбе с Германией. Война была объявлена 15 июля 1870 года.

Был знойный день начала августа. Золотистый туман окутывал Париж, и в знойной пыли исчезали четкие контуры огромного города. Улицы были пустыни, как ночью, так как день был праздничный и жара загнала жителей под тень крыш домов и ресторанов. Солдат 7-го корпуса Дезире Дево шел один по набережной, погруженный в глубокую задумчивость.

Еще не прошло двух недель, как он мирно жал рожь на родных полях, думая об урожае, молотье и сборе винограда. Как шквал, докатилась мобилизация до самых отдаленных провинций и вырвала его из самого сердца семьи, чтобы бросить в какое-то страшное и неведомое будущее.

Слышались ему рыдания матери и других женщин на вокзале, где их, несчастных, растерянных «мобилей», вталкивали, как стадо баранов, в скотские вагоны, не давая времени опомниться; вспомнилось ему лицо кюре в ореоле седых волос, с румяными жирными щеками, который улыбкой ободрял его и высокопарно говорил о долге перед отечеством; мелькали в его воспоминаниях свирепые лица чиновников-офицеров, которые, измученные долгим приемом, почти не глядели на солдат, давая им назначения.

Затем грохот колес, гудки паровоза, новые лица товарищей, а в окнах мелькание деревень, городов, новой, доселе невиданной, природы и жизни. От всех

впечатлений у Дезире кружилась голова; он оглядывал самого себя, свою синюю форму, кепи, гетры на ногах, и ему казалось, что от прежнего Дезире не осталось ничего. Война вышибла его из колеи.

Правда, он с детства слышал о том, что бывают войны и что нет ничего страшнее их для несчастных деревенских женщин, у которых они отнимают мужей и сыновей; но слышал он также, что на войне получают медали и кресты и затем, хотя и без руки или без ноги, инвалид до конца дней пользуется уважением. В сельской школе ему нередко говорили о славе французского оружия, о величии военных побед, и все эти мысли твердо засели у него в голове.

Суровая действительность обманула все его ожидания. Здесь, в Париже, где уже два дня стоял его эшелон, готовый к отправке, он чувствовал себя одиноким и потерянным; он не мог зажечь в себе той ненависти к врагу, которую он считал необходимой для всякого честного патриота, и поэтому не раз в глубине души попрекнул самого себя в слабости и трусости.

Ведь Дезире искренно верил в то, что пруссаки напали на Францию, что император защищает страну и что во имя ее защиты надо идти на смерть. Он верил в то, что там, где-то далеко, среди образованных, умных и богатых людей знают о том, как добиться победы, а ему, Дезире, надо только покоряться и исполнять приказания. Он и думать не мог

о том, что все эти поезда, с грохотом и шумом везущие на кровавую бойню сотни тысяч молодых жизней, покорялись прихоти кучки беззастенчивых спекулянтов, для которых война являлась новым средством наживы. Он не знал, что в Тюльери, из розовых комнат императрицы Евгении, пропитанных запахом рисовой пудры, кольд-крема и ладана, из комнат, где рядом с кусочками мощей лежали игривые французские романы, не раз раздавался капризный голос той, которая считала себя хозяйкой Франции.

— Мне нужна эта война; это моя война!

И вот жребий был брошен. Дезире Дево, как и тысячи других молодых людей, был оторван от родины и семьи и брошен во власть случайностей и страданий.

Дезире стоял на набережной, облокотившись на перила, и смотрел на город, расстилавшийся перед ним. Он чувствовал себя несчастным. Тоска охватила его, но чувство протеста он еще отгонял от себя, помня основную мысль, которую ему с детства внушила мать:

— Будь покорным, сын мой; старшие знают лучше тебя, что надо делать. Бунтари всегда бывают рано или поздно наказаны.

Дезире сунул руку в карман и вытащил из него порядочно уже запачканный клетчатый платок и вытер лоб. Ему хотелось пить, но по дороге он не встретил ни чайной, ни трактира. В кармане у него зве-

нели три полуфранковские монеты, которые казались ему более чем достаточными для удовлетворения его скромных потребностей. Спросить дорогу в трактир у прохожих он не решился и чувствовал себя в чужом городе совершенно беспомощным. Внезапно позади его чей-то голос удивленно воскликнул:

— Ба, да это Дезире Дево!

Сзади него стояли двое его товарищей по роте, с которыми он познакомился во время переезда. Их смеющиеся веселые лица являлись резким контрастом печальному, бледному лицу Дезире.

— Откуда вы, товарищи?

— Мы как раз хотели спросить тебя о том же,— сказал старший из них, красивый черноволосый парень, покручивая свои тонкие, как стрелочки, усы.— Сегодня вечером отправляют наш эшелон, и мы отпросились часа на два у капрала.

— А ты как сюда попал?

— Лейтенант д'Ожэ послал меня с письмом и разрешил задержаться часа на два; вот я и брожу по городу.

— Ах да, я и забыл, что ты, желторотый воробей, еще ничего не видал на своем веку,—засмеялся черноволосый парень;—ну, не сладкая ждет тебя выучка, вспомнишь на войне дом и родимую матушку.

Дезире нахмурился, стараясь изобразить на своем лице решимость.

— Только бы увидеть пруссаков, а там уж я покажу, что умею не хуже других постоять за родину!

Другой солдат, низкий, приземистый, с густо торчащей шапкой волос над небольшим упрямым лбом, хлопнул его по плечу.

— Ладно,—сказал он,—ты еще успеешь проявить свою храбрость на живодерке. А торопиться тебе нечего, за опоздание смерть штрафа не берет. Пойдемте-ка лучше выпьем, раз судьба свела нас всех так неожиданно вместе.

— Да,—сказал черноволосый парень, которого звали Пьером;—такая жарница, что кружка холодного пива будет для нас как раз кстати. Ну - ка, Мориц, ты ведь парижанин и знаешь уютные уголки. Веди нас!

Мориц подмигнул товарищам, как бы в знак того, что за уютными уголками дело не станет, и, заломив кепи на затылок, сунув руки в карманы, пошел вперед типичной развалистой походкой парижского рабочего.

— Эй, берегись, Мориц,—проговорил с усмешкой Пьер;—знаешь, что бы сказал тебе лейтенант, если бы увидел твою походку: «руки по швам, голову прямо! Ты не на фабрике. Негодяй! Революционер! Ты не уважаешь старших!»

И Пьер, выкатив глаза, изображал лейтенанта, выкрикивая каждую фразу сухим, отрывистым голосом.

Мориц захохотал.

— Похоже, клянусь честью, похоже; так именно он кричит, когда хочет напугать нашего брата. Впро-

чем, потише, о лейтенанте д'Ожэ надо говорить с уважением. Ведь тут его любимчик!

И он указал пальцем на недовольную физиономию Дезире.

— Я не видел ничего дурного от лейтенанта,—смущенно пробормотал Дезире,—и я уверен в том, что он храбрый офицер.

— Храбрый-то, храбрый,—проворчал Пьер,—особенно когда дело идет о том, чтобы драть шкуру с нашего брата.

Лейтенант д'Ожэ был командиром их роты, и солдаты, невольно, часто вели о нем разговор. Странный, а в иных отношениях даже страшный человек, лейтенант по каким-то непонятным мотивам проявил к Дезире нечто похожее на симпатию, получив в обмен от наивного, незнающего жизни мальчика, пылкую преданность и поклонение. Это являлось предметом шуток товарищей, а со стороны некоторых—причиной враждебного отношения к Дезире.

Между тем, все трое подходили к небольшому старинному дому, в первом этаже которого красовалась вывеска трактирщика. Ослепительно белая афиша была наклеена тут же на стене, у самой двери. Толстяк хозяин, с ярко-красной от жары физиономией, был погружен в чтение.

— Здорово, хозяин,—кликнул его Мориц,—найдется ли у вас доброе пиво для трех несчастных смертников, которые хотят выпить по последнему стаканчику?

Толстяк обернулся и всплеснул руками.

— Для вас? Да как же не найтись! Для военных я даже делаю скидку; пять кружек за деньги, а шестая бесплатно. Я как раз читал воззвание императора и думал о нашей несчастной молодежи. Прочтите-ка. Не знаю, что думаете вы об этом, а меня так несколько не радуют все эти громкие слова.

«Солдаты, — гласила афиша, — я становлюсь во главе войска, чтобы защитить честь и неприкосновенность отечества. Вам предстоит сражаться с одной из лучших армий Европы, но в былые времена другие армии, не слабее этой, не могли противостоять вашей храбрости. Так будет и теперь! Начинаящаяся война будет длительной и тяжелой, так как театром ее являются места, богатые природными препятствиями и крепостями, но ничто не может устоять перед усилиями героев Крыма, Африки, Китая и Мексики! Вы еще раз покажете, на что способна французская армия, преисполненная чувства долга и вдохновляемая любовью к родине. Вся Франция шлет вам свое горячее сочувствие, и взоры всей вселенной обращены на вас. От ваших усилий зависит развитие свободы и цивилизации. Солдаты! пусть каждый из вас исполнит свой долг, и бог войны будет с нами!

Наполеон».

Мориц прочел афишу и презрительно фыркнул.

— Старая песня, — сказал он, — когда мне проколот брюхо или отрежут ногу, меня за это никто благо-

Рабочий расхохотался и хлопнул по плечу Пьера.

— Мне нравятся твои рассуждения, дружще, и я хочу выпить вместе с тобой за здоровье этой прекрасной парочки. Входите, друзья. Меня зовут Оливье и я хочу познакомить вас со своими товарищами. Все они хорошие люди и умеют постоять за себя. Впрочем, на двоих из них прошу обратить особое внимание.

Он указал на горбуна в очках, который, не обращая на него внимания, курил, сидя верхом на стуле.

— Это студент и самая умная голова во Франции; поумнел особенно с тех пор, как его выгнали из университета. Мы зовем его «горбун», и он на это не обижается, так как стоит выше предрассудков. А эта девушка, Мари, — наша подруга. Когда она поет свои песни, то все пляшет в комнате и даже наш толстяк хозяин притоптывает в такт каблуком. Иди сюда, девочка, и приветствуй армию.

Мари, встряхивая кудрями, смеясь подошла к молодым людям и протянула им руку.

— Оливье не знает за что бы похвалить своих друзей, — сказала она; — он такой добрый, что в каждом находит что нибудь хорошее. Садитесь сюда, я здесь считаюсь хозяйкой и распоряжаюсь всем.

Когда вся компания уселась и кружки снова запенились пивом, Оливье встал и поднял свою кружку:

— Насколько я понял вас, товарищи, — сказал он, — перед вами лежит печальная необходимость ехать на

войну. Провожая вас, я хочу сказать несколько слов. Пускай война эта будет последней! Выпьем за то, чтобы наступило такое время, когда народ будет сам себе хозяином и не будет воевать по прихоти богатых людей, чиновников и императоров. Долой войну и да здравствует мир всех народов!

— А я пью за то,—сказала Мари,—чтобы вы все вернулись живыми оттуда.

Все стали чокаться, но смущенный Дезире не прикоснулся к своей кружке. Однако, когда Мари, улыбаясь, протянула к нему свой стакан, он не выдержал и улыбнулся ей.

— Отчего же вы не пьете?—ласково спросила она.

— Я хотел бы выпить за что-нибудь другое,—робко сказал он;—мне кажется, что когда мы идем на войну, то должны думать только о победе. Император не виноват в том, что началась война. Когда на нас нападают, то нам поневоле приходится защищаться.

Оливье пристально взглянул на него.

— Вы крестьянин?—спросил он.

— Да.

— А я—революционер.

И с этими словами Оливье встал во весь свой огромный рост и гордо закинул голову:

— До вашей деревни, наверно, уже докатилась весть о том, что существуют такие страшные люди среди парижских рабочих. Вас посылают на войну и гово-

рят вам, что вы должны победить, и вы идете с уверенностью, что боретесь за правое дело... а мы говорим: «долой войну!» Вам говорят, что пруссаки напали на нас и что мы должны защищаться... а мы говорим, что императоры и богатые чиновники перессорились между собой и хотят решать свои споры за счет народной крови. Для вас пруссаки—враги, а для нас враги только богатые, а пруссаки, если они рабочие,—свои же братья. Так думаем мы, и когда-нибудь, клянусь честью, мы опрокинем весь теперешний порядок, и начнется такая пляска... Первым убежит император, а за ним и вся остальная компания. Это сделаем мы, революционеры...

— Мы, центральный комитет,—отозвался со своего места горбун.

Оливье хлопнул по плечу Дево.

— Поверь мне, что императору все равно, будет ли он победителем или побежденным, лишь бы волна народного гнева разбилась об успехи и неудачи войны. Но кто это понимает? Меня чуть не убили, когда я в первые дни громко выкрикивал на улице свою ненависть к войне. Меня называли пруссаком, грозили мне; «он подлец»,—говорили окружавшие меня храбрецы,—«он заслуживает лишь веревки, чтобы быть повешенным; он не верит в родину, в славу, в победу; ему все равно, что европейские кабинеты нанесут нам обиду». И они были правы, к этому я был, действительно, совершенно равнодушен.

Вечерняя прохлада уже спустилась на город, когда вся гурьба высыпала из трактира на улицу.

Мари шла рядом с Дезире; между ними сразу зародилась горячая симпатия. Пока они шли по еще неосвещенным улицам Дезире рассказывал ей о себе, о своей деревне, о матери, которая осталась дома, и видя нежное сострадание в глазах девушки, даже признался ей в том, что боится войны, хотя и верит в победу и в славу французского оружия. Мари, в свою очередь, рассказала ему свое одинокое детство, в огромном Париже, где никому нет дела до сирот; о годах нужды и лишений, наконец, о поступлении на фабрику, где она нашла верного друга и помощника в лице Оливье.

— Ах, он необыкновенный человек,— сказала она;— верьте мне, он всегда и во всем прав. Если бы вы могли остаться с нами, вы бы услышали от него необычайные вещи.

Дойдя до маленького сквера, стали прощаться. Внезапная грусть болезненно сжала сердце Дезире. Мари сделалась ему дорога, как последнее звено, связывающее его с радостью жизни. Она тоже грустно смотрела на него из-под своих русых кудрей.

— Прощайте, -- тихо сказал он, пожимая ее руку,— пишите мне; Оливье знает, куда направлять письма. Может быть, там ваши письма будут моим единственным утешением.

— Я буду писать,— сказала она, кивнув головой.— Когда вы вернетесь, а я верю, что это будет скоро, не забывайте своих новых друзей.

Вскоре группа рабочих, среди которых мелькало белое платье Мари, исчезла за поворотом. Дезире, Пьер и Мориц, погруженные в безрадостные думы, молча побрели в сторону вокзала.

ГЛАВА II

Рассказ Христиана Форжа

Прошло три недели с тех пор, как полк, в котором служил Дезире Дево, покинул Париж. Тот небольшой под'ем, который с трудом разжигали в Париже воззвания императора и патриотические манифестации, быстро пошел на убыль с той минуты, как войска начали поход. Очень скоро, даже для наименее наблюдательных, стало заметно, что армия мечется взад и вперед без определенного плана, как бы охваченная смертельным страхом встретиться лицом к лицу с неприятелем. Почти ежедневно, сея среди солдат возбуждение и энергию, пронесился слух о том, что к вечеру будет дано сражение, но через несколько часов опять складывались палатки, и в тиши лесов и болот начиналась безумная скачка

сотен тысяч людей, которые, как тени, неслись в неизвестное будущее.

Дезире, который с детства слышал от деда историю наполеоновских походов, приправленную досужими вымыслами бонапартистов, представлял себе войну только как рукопашное сражение, среди которого на храбрецов льется дождь орденов и наград. Вымокший, грязный, усталый, после ночевки в открытом поле, он, несмотря на свою благоговейную покорность и привычку к безусловному подчинению господам-начальникам, чувствовал, как в нем неудержимо растет досада. Тщетно призывал он на помощь в минуту отчаяния уроки нравственности, которыми набили ему голову учителя приходских школ и старушка мать, коснеющая в рабском невежестве в далеком уголке забытой провинции. Был около него только один человек, который лучше всяких изречений умел поднять дух Дезире и заставить его верить в то, что считалось необходимым для всякого француза-патриота. Этим человеком был лейтенант д'Ожэ. Лейтенанту было лет тридцать пять. Большое состояние, которым он некогда владел, значительно уменьшилось среди безудержных попок и кутежей. Война являлась для него единственным способом снова выйти на дорогу. Он уже мечтал о крестах и наградах, о тичном внимании императора, о посещении Тюльери. Ведь в царствование Наполеона III все было возможно. Разве трон не был окружен

людьми, проникшими к нему только благодаря пронырливости и случаю? Разве не мог и он, подобно другим, вознестись до головокружительной высоты чинов, знатности, богатства?

Случайностей войны он не страшился. Лейтенант д'Ожэ был несомненно храбрый человек; жестокий к другим, он не был чувствительным и к самому себе. С решимостью и упорством он шел к намеченной цели. Что война окончится победой—в этом он не сомневался. Он рассмеялся бы в лицо тому, кто осмелился бы ему сказать, что вся Франция против войны.

— «Франция? Императрица, двор, офицерство и чиновники хотят войны. О какой же Франции вы еще говорите?»

Солдаты боялись его; когда появлялась его небольшая крепкая фигура с высоко-поднятой маленькой головой, когда его зеленые глаза устремлялись с холодной пристальностью в глаза другого, какой-то трепет охватывал людей, зависимых от него. Холодная властность исходила из всей его фигуры. Про него говорили, что он способен на худшие жестокости. Смеялся он часто и громко сухим, отрывистым смехом и, говоря с солдатами, часто употреблял короткие восклицания, больше напоминавшие понуканье конюха, чем человеческую речь.

Большинство солдат ненавидело его, но были среди них и такие, для которых его обаяние было непреодолимо. Он знал за собой способность привлекать к

себе простодушные сердца и пользовался ею, иногда ради шутки, чтобы было чем позабавить господ офицеров на собрании, иногда же преследуя свои тайные, никому неведомые, цели. И Дезире, в простоте души, сразу сделался поклонником страшного лейтенанта. Ему казалось, что под этим узким лбом живет величайший ум; лейтенант на коне казался ему героем; его немногоречивые, но энергичные обращения к солдатам казались ему проявлением души истинного патриота; досаду лейтенанта на неуспехи войны, продиктованную соображениями личного благополучия, он принимал за страдания человека, отдавшего все на служение родине.

— «Да»,—говорил он себе,—«лейтенант д'Оже не любит никого, вся его душа полна только одним чувством—любовью к Франции».

Лейтенант вскоре заметил привязанность Дезире к нему; этот мальчик с бледным лицом и задумчивыми голубыми глазами мог сделаться для лейтенанта преданным, как собака, слугой. Кто знает, какие еще неожиданности готовило темное будущее? Иметь же под рукой безгранично-преданного человека, глядящего на все его глазами, могло быть очень и очень полезным. И лейтенант стал часто подзывать к себе Дезире и беседовать с ним.

Глупый мальчик, он верил, безусловно, во все то, что исходило из уст лейтенанта, а между тем, своей дружкой с офицером он вызывал к себе враждебное отношение товарищей.

Между тем, в роте все сильнее и сильнее росло недовольство: Мориц и Пьер быстро примкнули к лагерю ропчущих. Дезире часто, против воли, приходилось слышать насмешливые выпады Пьера против «храбрости генералов, бегущих, как зайцы, от неприятеля», против «плана командного состава, который каждый день меняет свои намерения и расположения войск». Дезире старался не слушать таких разговоров, но тяжелая раздвоенность, помимо его воли, поднималась в нем, и он чувствовал, что под напором жизненных событий его темная голова должна решить многие непосильные задачи.

В ночь на 25 августа полк расположился лагерем на опушке большого леса. Было приказано разбить палатки, развести костры и готовить ужин. Вестовой, прискакавший из штаба, сообщил капралам, что было решено, наконец, дать отдых людям. Все вздохнули с облегчением, но обоз, как всегда, запоздал, и измученные солдаты, сидя в траве, не разводили костров и уныло грызли давно опротивевшие солдатские сухари. Однако, в одиннадцать все-таки протрубили раздачу. Вмиг все оживилось: толпы солдат рассыпались по лесу в поисках сухих веток, затрещали дымные костры, и запах супа и кофе начал носиться над лагерем.

Капрал третьей роты Христиан Форжа, черноглазый, приземистый малый, чуть заметно хромящий на правую ногу, проявлял, как всегда, особую

энергию. Это был человек сосредоточенный и молчаливый, но отличавшийся какой-то особенной находчивостью во всех жизненных делах. Он редко вступал с кем-нибудь в беседу, но слова его всегда бывали вески, дельны и кратки. О роте своей он заботился с материнской заботливостью, и едва ли кому-нибудь во всем полку жилось так хорошо, как ей: Христиан умел всегда все достать во время, умел сохранять запасы, никогда не забывал ни о какой нужде. Делал он все это молча, тихо, без лишних слов и как бы погруженный в какую-то постоянную неотвязную мысль.

Дезире за время похода очень мало пришлось говорить с ним, но между ними быстро установилась взаимная симпатия. Дезире нравилась молчаливая деловитость Христиана, последнего же привлекала добродушная простота Дезире.

В один миг были разбиты палатки, на костре закипел котелок супа, хлеб, разрезанный на ровные порции, был роздан по рукам, и сразу повеселевшие солдаты, стоя на коленях вокруг костра, принялись за ужин.

— Наконец-то и мы с горячим супом,—сказал Мориц, опуская ложку в дымящийся котелок.—Как мы ни бегаем от пруссаков, а эти всегда успевают закусить и выпить,—сказал он,—жестом указывая на белеющие в стороне офицерские палатки;—они скорее согласятся отдать нас в лапы самого Бисмарка, чем недоужинать или лечь спать без стакана доброго вина.

— А что им Бисмарк?—заговорил Пьер,—их-то он не обидит. Богатые всегда сговорятся между собой. Политика политикой, а попадись мы в плен, нашим господам опять будет почет и уважение. Затевают-то войну господа, а расхлебывать кашу приходится нам.

— Наплевать,—сказал маленький, юркий Лапуль;—кто бы не затевал войну, лишь бы дали нам по настоящему драться. Разве это война? Бродим, как шальные, по полям и лесам. Хотя бы раз дело дошло до штыков! Кто-то посылает нас, кто-то останавливает... и о чем они только думают, все эти образованные и умные!

— У них ничего для войны не готово,—мрачно сказал Мориц,—а, однако, они не задумываясь послали людей на живодерню.

— Будет разговаривать,—коротко сказал Христиан,—разговорами делу не поможешь! Сейчас нам остается только драться с пруссаками, а счета мы пред'явим после.

И он снова погрузился в молчание.

Костер догорал, в ясной летней ночи засыпал лагерь. Только фигуры часовых чернели под луной, отбрасывая длинные тени на блестящие от росы поляны. Дезире завернулся в шинель, подложил под голову ранец и хотел заснуть. Ему казалось, что утомление его так сильно, что он немедленно погрузится в глубокий сон. Но ожидание это было напрасно: мысли, обрывки слов—пестрой вереницей мелькали в

его мозгу и не давали покоя; образ матери, милый образ девушки, мелькнувший перед ним в далеком Париже, тревожили его воображение; сон решительно не шел к нему.

Кто-то зашевелился рядом с ним; чей-то голос спросил:

— Ты не спишь, Дево?

Это был голос Христиана.

— Очень душно!—сказал Дезире.

Христиан закурил трубку, выбив огонь из кремня. Кругом все спали.

— Я чувствую, что не засну до утра,—сказал Дезире;— если тебе тоже не хочется спать, давай поговорим; в беседе время побежит быстрее!

Христиан сел, скинув с себя шинель, и оглянулся кругом.

— Да,—сказал он, тяжело вздыхая;—поговорить с кем-нибудь уже хочется давно. В душе накопилось столько горечи и злобы. А все как-то боишься, скажешь лишнее слово, подведешь своего же товарища. Время не пришло, когда можно будет говорить громко то, что думаешь. А молчать тяжело.

— Так и ты недоволен тем, что делается? Ты тоже думаешь, что офицеры никуда не годятся, а генералы— предают нас? Неужели тебя не возмущают такие трусы, как Пьер и Мориц?

— Ненавидеть войну еще не значит быть трусом,— тихо сказал Христиан,— и, может быть, им на деле

придется показать свою храбрость. Впрочем, дело не в них. Мне давно хотелось поговорить с тобой. Я давно к тебе приглядываюсь и вижу, что ты славный малый. Ты, видно, очень мало видел на своем веку и тебе трудно одному во всем разобраться, да к тому же тебе мешает...

— Что?—спросил Дезире.

— Откровенно говоря, мне не нравится твоя дружба с лейтенантом.

— Дружба?—сказал Дезире,—какая же может быть дружба между простым солдатом и офицером? Он делает мне честь говоря со мной, а я стараюсь оправдать его доверие.

— Лучше бы ты никогда с ним не встречался,— пробормотал сквозь зубы Христиан.—Он офицер и этого уже достаточно для того, чтобы я не верил в его хорошие качества. Но будет об этом. Расскажи мне лучше про себя.

Дезире в коротких словах рассказал ему всю свою несложную историю. Из его простодушных слов вырисовывалась его натура, наивная, неопытная, невежественная в жизненных вопросах и потому легко поддающаяся всевозможным влияниям. Весь характер французского крестьянина, упрямого собственника и хранителя традиций, сквозил в его словах: любовь к своему дому, к старине, к обычаям деревенской жизни, покорность нищете и унижениям, ненависть к городу и бунтарям, желающим нарушить мирный покой жалкого прозябания.

— Теперь,—говорил Дезире,—пруссаки напали на нас, и, пока мы не выгоним их из Франции, нам нельзя будет спать спокойно с уверенностью в завтрашнем дне. Проклятая война! Она вышибла нас из колеи. Когда же мы вернемся к своим домам?

Дезире кончил. Христиан печально улыбнулся и ласково положил ему руку на плечо.

— Как ты неопытен,—сказал он,—иной жизни, кроме своей, ты не знаешь и потому ты спокоен. Ужасное угнетение, в котором живем мы все, рабочие и крестьяне, кажется тебе естественным. Тебе не приходит в голову даже мысль о том, что вся жизнь могла бы быть иной, что к этой иной жизни можно стремиться всем сердцем и положить свою жизнь во имя ее. Ты удивляешься, что видишь меня в числе недовольных, так послушай же мою повесть. Она очень поучительна. Я знаю, в школе тебе внушали любовь к господам, которые любят народ и заботятся о нем. Только неблагодарные революционеры могут быть недовольны. Разве правительство и общественная благотворительность не создали касс взаимопомощи, бесплатных больниц и школ? Разве мало толкуют в газетах об улучшении жизни рабочих, о беспризорных детях, о борьбе с безработицей? Так знай, Дево, все это одно лицемерие и больше ничего. Все эти богатые, образованные, чиновные люди—наши злейшие враги, хотя они и толкуют непрерывно о боге и любви. Их любовь и благотворительность я испытал на соб-

ственной шкуре, и если не сдох от этих забот, то только потому, что крепко сколочен. Моя история—история тысячи и тысячи таких же несчастных, как я, но это только доказывает, что страдания мои не случайны, что они являются страданиями целого угнетенного класса.

Слушай же! Кто был мой настоящий отец—я не знаю, а мать свою я помню смутно. Она была мастерицей в каком-то магазине, где зарабатывала жалкие гроши, работая весь день над шляпами нарядных дам. Бедная мать! какая она была худенькая и бледная! Вечно она куда-то торопилась, как будто кто-то подгонял ее. Боялась она всех, начиная с булочника, у которого брала хлеб, и кончая нарядными заказчицами. Жили мы с ней вдвоем, сильно нуждались, но любили друг друга крепко. Но вот в нашем доме стал появляться человек, который приносил матери то ленту в волосы, то пару чулок, а иногда даже просто давал ей денег. Звали его Проспер Обри. Помню, что когда он первый раз пришел к нам, я сразу почувствовал к нему отвращение и забился за материнскую кровать, откуда не хотел вылезать. Но Обри был так ласков со мной, так часто приносил мне то яблоко, то дешевую игрушку, что скоро приручил меня к себе, как дикого зверька. Так продолжалось месяца два; мы стали лучше жить, и мать моя помолодела и повеселела. Я, конечно, тоже был доволен.

Но в один прекрасный день Обри привез к нам на тележке весь свой скарб, и мать велела называть его

папой. Сначала все шло довольно гладко, хотя ласки Обри и подарки сразу прекратились. Сначала он перестал обращать на меня внимание, но вскоре мое постоянное присутствие стало, повидимому, его раздражать.

— Убери ты мальчишку,—часто говорил он матери,—вечно он вертится под ногами.

Мать, которая после его переезда стала еще более тихой и забитой, совала мне в руки кусок сахару и выпроваживала на улицу. Дело стало ухудшаться с каждым днем. Обри стал придирается ко мне; сначала подзатыльники, пинки, а вскоре я испытал и настоящие побои. Муж моей матери стал откровенно ненавидеть меня.

— Этот мальчишка об'едает нас,—говорил он, когда мы садились за обед, и я чувствовал, что кусок уже не шел мне в горло. Обри находил, что я ничего не делаю в доме, и старался навалить на меня как можно больше работы. Иногда она делалась для меня непосильной, и тогда град побоев и упреков сыпался на меня. Мать тяжело страдала, глядя на мои мучения, но сама так боялась Обри, что открыто заступиться за меня не смела. Когда же его не было дома, она порывисто ласкала меня, прижимала к груди и осыпала поцелуями. По вечерам Обри стал часто возвращаться домой пьяным, и тогда я слышал, как он упрекал мою мать за то, что она навязала ему на шею «своего щенка». Она или молчала, или тихо плакала, уткнувшись головой в подушку.

Вскоре жизнь сделалась для меня ужасной; вечно избитый, осыпанный упреками, полуголодный, я стал озлобляться и даже любовь матери не могла смягчить моего жестокого отчаяния. К тому же дома началась нужда; Обри за пьянство прогнали с фабрики, и матери снова пришлось взяться за работу, чтобы кое-как прокормить семью.

Однажды, после двухнедельной тяжелой работы, она вечером, накануне праздника, пошла к заказчице относить заказ. По дороге ее застал дождь, она вернулась домой промокнувшая, с сильным ознобом. К утру открылась лихорадка. Истощенная работой и нуждой, она не могла бороться с болезнью и через пять дней умерла. Как передать тебе, что я чувствовал, когда стоял около ее постели, держа в руке остывающую руку. Я был одинок во всем мире; не было даже человека, которому я бы мог поведать свое горе. Я подавил свои слезы, но страдание, схороненное на дне души, сжигало и душило меня. К чести Обри, должен сказать, что он горько плакал над телом моей бедной матери. Этот человек, грубый и жестокий, проявивший ко мне впоследствии бесчеловечную ненависть, вероятно, искренно любил ее. Но на меня он не обратил никакого внимания, а соседки, толпившиеся в нашей комнате, видя меня стоящим в оцепенении и без слез у постели матери, решили, что я «бесчувственный мальчик».

Итак, мы остались вдвоем. Обри некуда было девать меня; выгнать меня на улицу, после смерти

матери, он как будто стыдился, но мысль, что свой жалкий заработок ему придется делить со мной, приводила его в ярость. Не буду говорить тебе о том, что я пережил, живя с ним. Достаточно только сказать тебе, что Обри относился ко мне как к настоящему врагу и поэтому не пренебрегал ничем, чтобы досадить мне. Он заставлял меня работать на себя, как раба. Я варил ему обед, убирал комнату, стирал белье, даже стаскивал с него сапоги, когда он возвращался домой. За мою работу он платил мне побоями и упреками, а есть давал ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы я не умер с голоду. Быть может, если бы я рассказал кому-нибудь о своих страданиях, за меня бы заступились, но я не верил никому, избегал говорить с соседями и, как затравленный зверь, искал спасения в одиночестве. Вскоре Обри заставил меня ходить в школу. Думаю, что он сделал это для того, чтобы избавить себя от упреков в невнимании ко мне. Но что могла дать школа? Усталый, измученный, я приходил туда, и в толпе других оборванных детишек, которым государство дарует бесплатное образование, как сквозь сон, слышал уроки старого кюре, говорившего нам о покорности и послушании или набивающего наши головы разными церковными баснями. Но школа дала мне одно: возможность уходить из дома. Пока я проходил короткое расстояние, отделявшее меня от нее, я чувствовал себя человеком, я был свободен;

я шел, глядя по сторонам, наблюдая жизнь вокруг себя; я дышал полной грудью. Наконец, один раз, увлекшись прогулкой, я запоздал в школу и когда заметил, что время уже позднее, решил и вовсе туда не ходить. Обри ничего об этом не узнал, и дело сошло с рук благополучно. Это меня обрадовало. Я почувствовал себя свободным и решил изредка позволять себе такие прогулки. Улица тянула меня к себе. Все чаще и чаще стал я проводить школьное время в бродяжничестве, стараясь попасть домой лишь ко времени возвращения Обри. Однажды теплым и тихим июльским вечером, пропустивши днем уроки и прошлявшись весь день, я остановился на улице Жема, на берегу канала Сен-Марпэн. Был тихий час, когда улицы пустынные и солнце золотит все предметы. Опершись на перила я любовался, охваченный стремлением к путешествию и той любовью к далекому, которая так рано пробуждается в ребенке, на тяжелый пароход с толстыми боками, который, верно, прибыл сюда из Фландрии и остановился у противоположного берега канала. Палуба была пуста. Только одна белая собака с острыми ушами деловито бегала по ней. Пароход чистенький, вновь выкрашенный в желтый цвет, купался в ярких солнечных лучах и казался таким привлекательным и гостеприимным. Мои детские мечты уже уносили меня далеко; я смутно чувствовал, что можно быть счастливым на этом пароходе, я видел себя уже матросиком, плывущим вдаль, туда, туда, где нет горя!

— Что, не плох кораблик?— вдруг раздался тонкий голосок рядом со мной. Я обернулся и увидел около себя мальчика лет десяти в лохмотьях. На нем был надет мужской пиджак такой длины, что спускался ему много ниже колен, а рукава ему пришлось засучить, чтобы освободить себе руки. Но несмотря на этот странный костюм, на желтые волосы и зеленоватый цвет лица, в его глазах и вздернутом носе было что-то добродушное и веселое, что сразу понравилось мне.

— Ты тоже любишь смотреть на пароходы?— продолжал мальчик.—Как тебя зовут? Меня зовут Антошка.

Я назвал себя.

— Странное у тебя имя, Христиан! Никого еще не встречал с такой кличкой. Верно варишься в семейном соку. На ногах башмаки и брюки крепкие.

И доказав свою гениальную наблюдательность, Антошка принялся насвистывать. Потом он прибавил:

— Пойдем до шлюз... я думаю, что их должны сейчас открыть. Интересно смотреть, как падает вода.

Я пошел за ним; меня притягивал к себе этот маленький бродяга. Полюбовавшись вместе на водопад, мы стали приятелями и начали болтать. Я рассказал Антошке, что сбежал из школы и теперь не тороплюсь домой, так как, наверно, получу трепку.

— Знаю,—пробормотал мой спутник.—Тебя дует отец, а меня мачеха, уж и зла же она. Я сыт по

горло пощечинами, и вот уже восемь дней, как не являлся домой. И это уже не впервой.

— Ты не возвращался домой!—воскликнул я с удивлением, к которому примешивался невольный восторг.—Как же ты живешь?

Антошка беззаботно пожал плечами.

— Если поискать себе пропитание, то всегда можно его найти. Надо только остерегаться полицейских. Можно стоять у театра и открывать публике дверь, найти извозчика для запоздавшего буржуа. А на утро, на рынке, можно помогать при разгрузке товара. Самое трудное, это найти уголок для спанья. Но я знаю, где есть строящиеся дома. Только не надо попадаться полиции. Вот и все.

— И ты так живешь? Часто?—спросил я, задыхаясь от волнения.

— Конечно.

— Но тебя, наверно, ловили иногда... возвращали родителям, а тогда?

— Тогда я получаю опять трепку. Но так как домашняя жизнь совсем не по мне, то через несколько дней я удираю опять. К чорту дом! Хорошо только на улице!

В эту минуту на ближайших башенных часах пробило шесть, и я вздрогнул. В этот час Обри обычно возвращался домой. Не найдя меня, он, вероятно, вышел из себя от злости. Мне казалось, что я уже вижу над собой его грозный кулак. Во мне под-

нялось непреодолимое желание не возвращаться домой, жить как придется, быть свободным. Но один я не смел пуститься в путь. Я боялся. Ах, если бы этот бесстрашный Антошка, опытный и бойкий, согласился взять меня к себе в товарищи.

— Ну, а сегодня?—спросил я с остатком робости в душе,—где же ты сегодня будешь ночевать?

— На барже с углем, около моста; там есть просмоленные паруса, под которыми очень тепло. Беда только, что до света надо подниматься. Угольщики рано приходят. Баржу будут разгружать несколько дней, и пока что за квартиру я спокоен. Но что еще лучше, так это то, что сегодня есть чем поужинать,—добавил Антошка, позвякивая четырьмя медными монетами.—Хлеб и сыр! Если хочешь, я приглашаю тебя. Я ведь давно сообразил, что ты сыт отцовскими колотушками и жаждешь удрать.

Я, как зачарованный, смотрел на него.

— Правда? Ты возьмешь меня с собой?

— Еще бы!

В этот вечер я не вернулся домой.

Сначала мне очень понравилась жизнь бродяги. Стояли чудные летние дни, ночи были теплые. Нам хорошо спалось с Антошкой на барже, под старым парусом. Несколько копеек мы всегда умели добыть. Антошка знал Париж, как хороший лесничий знает свой лес, и всегда умел найти медный грош или копейку. Весь день мы бродили; заходили в зооло-

гический сад посмотреть на зверей, наблюдали с бережной за пароходами, в полдень дремали в предместьях Парижа. Антошка лучше всякого другого знал где устроиться, а страх быть пойманным придавал только особое наслаждение нашим похождениям... Сбить со следа ищеек, проныр, шпииков—у Антошки был целый запас презрительных слов для полицейских—было игрой, более захватывающей, чем салки или палочка-выручалочка.

Но, конечно, скоро я узнал и тяжелые минуты: копеек стало перепадать мало, погода испортилась, ужинать нам приходилось только тем, что Антошке удавалось стащить из открытых лавочек. Дождь шел не переставая, особенно ночью. Верное ночное убежище исчезло; баржу разгрузили, и мы грустно смотрели, как наш дом уплывал в Бургундию. Императорское правительство, воодушевленное человеколюбием, издало законы о беспризорных детях и рьяная полиция прогоняла нас от злачных мест, где развлекались богачи. Нам приходилось спать в открытых подвалах строящихся домов. Деньги окончательно исчезли. Мы пробовали просить милостыню, но нас называли попрошайками и отгоняли прочь. Мы начали по-настоящему голодать.

— Ну, в чем дело,—говорил мне Антошка, когда я принимался плакать,—ты раскис? с тебя довольно? Я тебя не держу. Можешь отправляться домой и получать аккуратно суп и пощечины от своего папаши.

Я молча следовал за ним, глотая слезы.

Наконец, наша длительная прогулка стала чрезмерно тяжела. Антошка с непокрытой головой, промокший в своем гигантском пиджаке, не так уж весело шагал, а я, положительно, еле таскал промокшие насквозь ноги. Уже прошла неделя, как мы бродили день и ночь. И между тем, никто, конечно, не решился бы нас пожалеть. Ведь мы с Антошкой были великими преступниками. Ведь спать под открытым небом, надоедать просьбами о помощи толстому буржую, когда он переваривает свой сытный обед, стащить на две копейки сухих фруктов у поседевшего на плутнях почтенного торговца—это все преступления, против которых написаны целые томы законов. Императорское правительство отлично разбирается в оттенках. Искатель приключений, который под видом распространения религии едет в далекие страны, где надувает бедных негров, обменивая у них пуговицы на драгоценные камни, и которого убивают, наконец, озлобленные его жестокостью несчастные,— это не бродяга, а служитель религии. Бездельник, который обивает пороги для получения теплого местечка или права показаться на глаза императрице,— это не нищий, а политический деятель. Министр, который не имел ни гроша до своего вступления в министерство, а теперь имеет два миллиона в иностранных банках,—это не вор, а работник на благо народа. Но десятилетние преступники, украв-

шие пятикопеечную булку, выпросившие у прохожего копейку, спящие в недостроенных домах,—это действительно преступники, существование которых грозит общественному порядку и безопасности. На помощь, полиция! Скорее свод законов! Отдать их в детские тюрьмы не медля!

Христиан замолк. Растревожённая наболевшая рана, мучительные воспоминания взволновали его. Де-зире, который привык к его молчаливой сосредоточенности и скрытности, не узнавал Христиана в этом страстном ненавистнике общественного строя. Он жадно слушал его, приподнявшись на локте и опершись головой на руку.

Наконец,—продолжал Христиан,—бдительные защитники порядка разыскали двух ужасных преступников. В четыре часа утра нас разбудили в нашем недостроенном подвале темная личность в штатском платье и полицейский с шашкой на боку, от которого разило водкой и табаком. Мы оба вскочили, чтобы удрать, но полицейский уже держал Антошку за руку, а сыщик подцепил меня.

— Я же вам говорил, Лароз,—сказал штатский,— что мы, наверно, найдем здесь кое-какую дичь.

Затем обернувшись к нам, он скомандовал.

— Ну, живо в полицию, паршивцы!

Через пять минут нас притащили в полицию, и мы были брошены в темную комнату, вонючую и грязную. Я услышал, как загремел за мной железный засор.

Я плакал, сидя на скамье; Антошка шагал по комнате. Наконец, я робко спросил:

— Антошка, что же с нами теперь сделают?

— Что?.. Полицейский участок, тюремная карета, предварительное заключение.

Все эти незнакомые слова испугали меня.

— Что все это значит?—спросил я.

— Скоро узнаешь; хорошего мало, но от этого не помирают.

— А потом?—продолжал я выпытывать.

— Потом вызовут наших родителей, чтобы узнать берут ли они нас. Отец всегда меня берет, а мачеха— тузит немилосердно.

Я вздрогнул,—меня ждало то же самое. В семь часов заскрипел засов, и в дверь просунулась свирепая рожа полицейского. Он крикнул:

— Живей, мерзавцы,—и повел нас в кабинет секретаря.

Секретарь сделал нам краткий допрос, и нас отправили дальше.

Мы были перевезены, вместе со всем ночным уловом полиции, в префектуру, а оттуда—в тюрьму. Тут были пьяницы, воры, грабители и такие же бродяжки, как мы. Почти все эти несчастные плохо стояли на ногах, кто от истощения и слабости, кто от вина. Полиция подобрала их между часом и пятью утра в ночных кабаках, в меблированных комнатах, на скамьях бульвара и на панели, куда они падали, быть

может, в надежде умереть. Что тут были за ужасные лица! И всех их по-очереди у дверей тюрьмы схватывали сторожа и в широкой передней сортировали эту человеческую ветошь, как тряпичник сортирует собранные тряпки. Шум при этом стоял невообразимый. И среди криков, невероятной брани, наглого смеха мы, пятеро или шестеро ребят, подобранных на улице, стояли молча и, широко раскрыв глаза, смотрели на эти ужасы, созданные правящими классами.

Наконец, когда перекличка кончилась, меня и Антошку с остальными ребятами грубо толкнули в карцер, где стоял стол и две скамейки. Нас накормили супом, которому скорей было место в хлеву, чем на столе. Через два часа мы были перевезены в детскую тюрьму, куда свозятся все маленькие бродяги, пойманные на мостовой Парижа. Судья, особо для этого назначенный, разбирает их дело, и если ребенок достиг четырнадцатилетнего возраста, его препровождают в общегосударственный суд, как гражданина, ответственного за свои поступки. Если же бродяжка еще малолетний, вызывают его семью, когда таковая имеется. Обыкновенно судья делает родителям внушение, так как дети всегда жалуются или на дурное обращение, или же на полную заброшенность. Затем ребенка водворяют в семью, если родители соглашаются его взять; если же нет или если ребенок си-рота, то его отправляют в исправительную колонию,

устроенную благотворителями. Пойми! Если ребенку четырнадцать лет, его судят, как взрослого, и навеки клеймят именем преступника. Если ему меньше четырнадцати лет, то с ним поступают еще хуже. Ведь эти благотворительные колонии—просто-напросто детские каторги. Нас отдавали на каторгу до нашего совершеннолетия. Порядок, государство, наука требовали этого. И ничего другого для детей рабочих не могли придумать ни „добрый наш и либеральный император“, ни богатые дамы, плачущие над страданиями „наших добрых крестьян и рабочих“.

И вот, весь в слезах, исхудалый, измученный предстал я перед судьей. За несколько минут перед этим моего друга Антошку передали в родительские руки. За ним явился пьяный отец с женой-фурией, которая ненавидела ребенка и колотила его беспощадно.

Судья заговорил со мной довольно мягко и быстро кончил допрос. Повернувшись к писарю, он сказал:

— Отец тут?

— Да, господин судья.

— Приведите его.

Проспер Обри вошел нахмурившись, с сердитым лицом.

— Садитесь,— сказал судья,— вот ваш сын, который несколько дней назад сбежал от вас. Я знаю, что вы делали заявление об его исчезновении; однако, мальчик утверждает, что вы жестоко обращались с ним. Правда ли это?

— Господин судья,— сказал Обри, вынимая из кармана сложенный лист бумаги,— прочтите эту метрику: „Христиан Форжа, сын Перины Форжа и неизвестного отца.“ Этот мальчик мне чужой. Я жил с его матерью— вот и все. Она умерла, и я держал ребенка из жалости. Имею я право отказаться от него?

— Конечно,— сказал судья,— но неужели вам не стыдно бросить ребенка?

Обри опустил голову и молчал.

В тот же вечер я, окончательно осиротевший, был отправлен в земледельческую колонию для малолетних в Мари и Уаз.

Как я помню по утрам окрик: „Смирно, по местам!“

Это было перед обходом господина директора колонии. Мы все обязаны были при его появлении вытянуться во фронт. Но что это был за жалкий фронт! У всех маленьких каторжан был такой темный цвет лица, такие отупевшие лица!

Колония наша была почти исключительно земледельческой. Наши ученые находят, что для того, чтобы воришки и бродяги превратились в добронравных детей, достаточно окружить их сельской обстановкой. А потому администрация купила несколько десятин невспаханной земли на плоскогорье Мари и Уаз. Местность была здесь высокая, жесткий, холодный ветер дул без перерыва; земля была твердая и неплодородная. Но администрация ликовала; открытый

воздух укрепит тело, а борьба с землей укрепит дух. И вот нас, бледных городских детей, перевезли в колонию. Получилось нечто неожиданное. Открытый свежий воздух уморил в чахотке сразу несколько десятков детей. Завешанные орденами чиновники не сознались, что они ошиблись.

Если ты встретишь одного из этих господ, сознающегося в своих ошибках, покажи мне его, хотя издали, и я с удовольствием выставлю тебе бутылку, другую.

Пришлось только немного изменить прежнюю систему. Самых сильных из нас продолжали гонять на плоскогорье на работу под ужасными ветрами, для слабейших же устроили различные мастерские. Ты знаешь, что мы, парижские ребята, очень ловки, и администрация, видя это, решила извлечь выгоду из работ молодых заключенных. Начали принимать заказы на игрушки, щетки и т. п. Таким образом мы не получали никаких знаний, которые впоследствии могли бы дать нам какой-нибудь заработок. Вокруг нас за наш счет постоянно шло мелкое воровство. Когда оно становилось слишком явным, присылалась комиссия для расследования, являлись министры, дамы-покровительницы. К их приезду все было в блестящем виде, нас принаряжали, обед бывал сытный; важные гости уезжали вполне довольные.

А однако, в колонии дела шли неважно, и ребята мерли, как мухи осенью. Наконец, министр додумался

до того, что в деле не хватает человека, что нужен директор с железной рукой. Правительство принялось искать, и вскоре железная рука была найдена в лице отставного капитана по имени Кайу. Он прослужил двадцать пять лет начальником над ссыльными и каторжанами—это считалось его главным достоинством. Долг свой он понимал, как холодную жестокость. Его предшественники были обыкновенными паразитами, подобно всем людям их сословия, он же твердо опустил на нас свою хваленую железную руку. Его назначили к нам, чтобы подтянуть нас, и он действительно нас подтягивал.

Ежесекундно мы слышали окрик:

— Смирно, по местам!

Я провел в колонии три ужасных года еще до вступления в должность капитана Кайу, но теперь года эти кажутся мне легкими по сравнению с тем, что пришлось испытать потом. Видишь, я прихрамываю на правую ногу—это память о директоре. В год его поступления один из его подчиненных в порыве ярости сломал мне ногу; я долго был болен, а сторож получил только выговор за горячность.

Наказания сыпались за всякий пустяк: строгий устав определял кару за каждый проступок. Но что это был за нелепый устав! Наказание, которое давалось за небольшие проступки и чаще всего применялось, была дисциплинарная комната. А однако, мы ее так боялись, что старались немедленно после легкого

проступка совершить что-нибудь ужасное и попасть в карцер с лишением пищи. Дисциплинарная комната представляла из себя большую залу с каменным полом; наказанные должны были непрерывно ходить вдоль стены друг за другом. Моя больная нога принуждала меня ходить сзади всех, и меня то и дело подгонял окрик:—«Не запаздывай, лентяй!» После нескольких часов непрерывного хождения, становилось так тяжело, что мы старались избегать углов, так труден был этот полуоборот, дающий мучительный толчок. Наконец, странное оцепенение охватывало наказанных. Мне кажется, что я сейчас еще слышу этот непрерывный стук наших ног по каменному полу—стук, стук, стук. Ужасно!

Как ненавидел я длинные, безнадежные казармы, в которых мы жили, суровую природу, окружавшую нас, голые равнины, ветер, беспрерывно гудящий в трубе, грубые окрики, лица надзирателей...

Самое счастливое время в этом ряде ужасных лет были те шесть недель, что я пролежал в лазарете. Там я познакомился с тем, кто один умел сохранить во мне человеческое достоинство. Ах, как хорошо было жить, сознавая, что есть любящая тебя душа!

Его звали Симон Бонуа; он был школьным учителем, присланным в колонию за ссору с начальником школы. У него была чахотка. Он чувствовал, что умирает, и искал среди нас хоть одного человека, в которого он мог бы вдохнуть ту веру в будущее че-

ловечество, тот гнев на современность, который он, умирающий, уже не мог воплотить в борьбу.

Бедный, дорогой учитель, он избрал меня. С его смертью у меня не стало последнего, единственного друга. Но я дал клятву, что вспомню его заветы. Тогда еще жалким ребенком, я собирал свои силы, чтобы начать борьбу. У меня бывало иногда желание смешаться с окружающими меня товарищами. Измученные жизнью, они погружались или в глухое безразличие, или предавались мошенничеству и воровству,—но тот путь, который указал мне Бонуа, манил меня к себе неудержимо. Проклятое, позорное современное общество, гнет которого всей тяжестью лег на меня, сделало меня революционером, а воспитание капитана Кайу—такова насмешка судьбы—закалило для жизненной борьбы.

Христиан замолк; рассвет уже золотил облака, среди сонного лагеря догорали костры. Наступило молчание. Наконец, Дезире робко спросил:

— Ну, а как же ты попал в армию?

— Я служу уже третий год,—сказал Христиан,—с того самого дня, как мои благодетели сочли мое образование законченным и выбросили меня на улицу без знаний, без денег, без семьи, да к тому же с волчьим паспортом, так как во всех моих документах красовались слова: «пробывший восемь лет в колонии для малолетних преступников». Сам понимаешь, что с такой рекомендацией соваться на службу было

нечего. Оставалась солдатчина. Но я на это не жалею. Из всего, что мне пришлось пережить, это, пожалуй, самое лучшее, да и к тому же здесь я больше всего могу быть полезен и добиваться своей цели.

— Своей цели?

— Да, Дево, близко время, когда голос угнетенных будет звучать призывом к борьбе. Дольше терпеть невозможно. Правительство, банкиры, чиновники плюют на нас и дразнят своей роскошью, как быков красной тряпкой. Они уверены, что такой порядок незыблем и что мы всегда будем стоять перед ними, согнувши шею. Но клянусь тебе, Дево, что мы и года не проживем, как весь этот порядок взлетит на воздух, как мыльный пузырь. Я не один так думаю,— нас много.

Дезире слушал, опустив голову.

— Этот Христиан Форжа — бунтовщик, — говорил ему внутренний голос, — бойся его, он покушается на все, что является для тебя священным. Берегись! Не верь ему!

Другой голос говорил:

— Он твой товарищ и брат. Стой с ним за угнетенных, против угнетателей.

ГЛАВА III

С е д а н

В начале сентября измученная, голодная, полубезумевшая от похода французская армия докатилась до реки Маас. Полк Дезире расположился на холме, с которого открывался вид на зеленеющие луга, плодородные пастбища, еще не тронутые волной проходящих войск. Внизу, в долине, сверкая белизной домов, расположился уютный провинциальный городок.

— Это—Седан,—сказал кто-то из солдат, указывая на него.

Ожидали, наконец, решительного боя. Не было иного выхода для чувств негодования, досады, которые, как смертное томление, владели каждым солдатом несчастной французской армии.

Вдали, на полукруглом амфитеатре холмов, в синюющем тумане, стоял противник—та всемогущая, таинственная прусская армия, перед невидимой силой которой армия императора металась, как раненый зверь.

Наступил тихий сентябрьский вечер. По обоим сторонам реки горели огни лагерей, как бы посылая друг другу привет, вопреки преступной воли создателей войны.

Дезире спал, подложив под голову шинель. Жажда забвения, смертельная усталость бросили его, как труп, во власть сна. Кругом белели палатки, и тысячи людей, вчера еще чужие друг другу, соединились в этом последнем сне, накануне рокового дня. Дыхание всех этих спящих волной поднималось над лагерем в темноте ночи и наполняло тишину подобием предсмертного стога.

Внезапно кто-то тронул Дезире за плечо. Привыкший к постоянно прерываемому сну, он сразу вскочил на ноги. Перед ним стоял лейтенант. Дезире вытянулся во фронт, продирая сонные глаза.

— Завтра будет сражение, Дево.

— Так точно!

— Ты должен показать, что ты не трус.

— Рад стараться!

— Помни, что ты сражаешься за славу родины. Я знаю, что среди армии есть подлецы, которые клеветой на начальников стараются сломить дух армии. Не верь им. Только трусы не верят в победу!

И лейтенант, круто повернувшись на каблуках, отошел от Дезире.

Ночь спускалась на землю; над сонным лагерем дышал тихий осенний вечер; огни Седана медленно меркли, один за другим, в маленьких белых домах засыпающего города.

Седан! Каким ужасом наполняет это слово сердца тех, кому дорога кровь народа! Каким кровавым ту-

маном застигает оно все безумие предыдущих лет империи! С раннего утра, с высот, сияющих за рекой холмов, раздались пушечные выстрелы, и в течение трех дней без перерыва буйный огонь противника уносил сотни и тысячи молодых жизней. Кто мог бы рассказать о том, сколько бесплодного героизма, сколько нечеловеческих страданий прошли бесследно в течение этих часов, не вызвав даже сочувствия и слез. Иные, как Дезире, верили в необходимость победы и думали, что борются за правое дело; другие, истомленные страданием, обидами, разочарованием, шли к смерти без сопротивления, как усталый человек, ищущий забвения во сне; но когда, наконец, над императорской квартирой в городе появился белый флаг, когда адъютант императора поскакал в немецкий штаб с письмом Наполеона, уже никаких чувств и мыслей не было в потерявших человеческий облик людях, не было ни страха, ни негодования, ни желаний.

Пушки замолкли. Обезоруженных солдат загнали на небольшой полуостров, где в течение шести дней их сортировали и отправляли эшелонами в глубь Германии для новых мук, унижения и плена.

Когда Дезире пришел в себя после сражения, после того, как он вместе с другими бежал куда-то, падал, вновь поднимался, бесконечно заряжал свое, ставшее уже горячим, ружье; после того, как вокруг него падали и стонали умирающие и раненые, а он то в

безумном ужасе кланялся всякой пролетающей пуле, то, теряя страх, ожидал с широко раскрытыми глазами смерти,—он в числе других уже шел, под градом оскорблений прусских офицеров, к полуострову, который впоследствии получил прозвание «Лагерь страданий».

Пьера и Морица нигде не было. Смутно вспомнилось ему, что на второй день боя мелькнуло перед ним красивое лицо Пьера, искаженное предсмертной мукой, с зияющей раной на лбу. Но это неясное представление ускользало от него, как в тумане, и глазами он тщетно продолжал искать товарища. Христиан Форжа очутился около него; пальцы его правой руки были обмотаны кровавой тряпкой, но он не вышел из строя, предпочитая остаться с товарищами. При виде Христиана, слезы выступили на глазах Дезире, и он молча протянул ему руку.

Как был прав Христиан когда говорил о страдании народа, отданного во власть безумца, воля которого выполняется преступниками, строящими свое счастье на потоках крови.

Но Христиан не сказал ему ни слова. Его печальное и задумчивое лицо только еще больше обострилось, еще ярче подчеркивая присутствие неугасающей в нем постоянной идеи.

Шесть дней 4-ая рота голодала: ни хлеба, ни мяса, ни горсточки муки; вода реки, влекущая бесконечное количество лошадиных и человеческих трупов, была

непригодна для питья; то небольшое количество еды, которое попадало в лагерь, продавалось за баснословные цены и все скупалось офицерами, располагающими не малым количеством денег. Кроме страданий голода, ужасный запах разложения, носившийся над лагерем, вызывал у пленных головокружения и даже галлюцинации. Христиан, закаленный в страданиях, как брат, ухаживал за более слабым Дезире. Сражение, голод, плен потрясли до основания неопытного мальчика; растерянно бродил он взад и вперед по берегу зловонной реки, как затравленный зверь, ищущий лазейки. На третий день, когда Христиан после короткого беспокойного сна открыл глаза, около него стоял Дезире, повидимому, не спавший всю ночь и как будто погруженный в какое-то изумленное созерцание. Глаза его были странно блестящи, а слова, которыми он отвечал на вопросы Христиана, полны неестественного возбуждения. Голод, повидимому, довел его до грани безумия. Насилу уговорив Дезире сесть под дерево, где жара давала себя меньше чувствовать, Христиан исчез и через час вернулся, неся большую ковригу хлеба и фляжку с вином и водой. Правда, на ногах у него, вместо сапог, мотались жалкие обмотки, но Дезире не видел ничего и жадно припал губами к холодной фляге.

Когда он утолил голод и жажду, глаза его встретились с глазами Христиана. Они не сказали друг другу ни слова, но в немом об'ятии, казалось, навеки побратались.

После нечеловеческого напряжения, после боя и следовавшей за ним шестидневной голодовки, пленные чувствовали необычайную слабость, и, однако, у всех вырвался вздох облегчения, когда они вышли из «лагеря страданий». Исчез ужасный запах разложения, доносившийся с реки, исчезло зрелище распухших страшных тел, постоянно плывущих по течению. Оборванные и измученные потянулись солдаты через Седан к прусским крепостям, в железные когти неумолимого Бисмарка,

Первые минуты Дезире шел покачиваясь от слабости, и ему казалось невозможным пройти длинный путь; однако, скоро он почувствовал, что стал ступать как будто тверже, а неотравленный воздух, который он с жадностью глотал, все больше воскрешал его упавшие силы.

Жители города молча провожали глазами пленных. Сострадание населения к несчастным солдатам, обреченным на заключение, проявлялось все время на пути эшелона. Когда же появлялись среди них офицеры, а тем более генералы, их встречали бранью и свистками. Всякий, носивший эполеты, был ненавистен. Ужас трагического шествия не поддавался описанию: принесенные в жертву честолюбивым мечтам беспутной императрицы и алчным расчетам крупной буржуазии, проданные своими начальниками, бесконечно усталые, шли эти страдальцы под окрики прусского офицерства к новым мукам позора и плена. Женщины,

стоя на порогах своих домов, плакали, глядя на них. Раздавались возгласы сочувствия и сострадания, но несчастные шли, опустив низко головы, как бы не чувствуя в себе больше сил взглянуть в глаза всем ужасам жизни. Вскоре город остался позади, и начался первый ужасный день перехода. До места грузки в поезд надо было идти дня три, и эшелон за эшелонам шли все по тому же пути, образуя один огромный, вечно движущийся, лагерь. Привалы были кратки, ночь длилась всего четыре или пять часов; но отстающих в пути, упавших на краю дороги прусские офицеры ударами заставляли подниматься и идти через силу дальше, пока смерть не прекращала их страданий. Тех же, кто сделал попытку бежать, было приказано расстреливать на месте.

С пересохшим ртом, с воспаленными глазами, бесчувственный ко всему, шел Дезире с остатками своей роты. Ему казалось, что он в каком-то бреду. В ушах стоял шум, мысли порой превращались в неясные образы, которые, как туман, застилали его взор. Все представления его смешались. Его слепая вера в победу не мирилась с ужасом катастрофы. Понять происшедшее было ему не под силу. Ему оставалось только не думать ни о чем, погрузиться в оцепенение, пока тот, кому он верил больше всех на свете, лейтенант д'Оже, не волеет в него новые надежды и новые силы. Но порой, среди этого бесчувствия, его ужасом пронзала мысль о страданиях плена.

После четырнадцатичасового перехода затрубили привал; лагерь расположился в маленькой роще, на опушке которой находилась небольшая деревушка. Многие пленные успели только скинуть с себя мешки, и тут же, не ожидая раздачи, растянулись на сырой земле и заснули тем страшным, мертвенным сном, которым спят только люди, охваченные глубоким отчаянием.

Дезире не мог заснуть, им владело беспокойство; скинув мешок и шинель, он пошел бродить между рядами лежащих или стоящих группами пленных. Христиан Форжа уже спал, и лицо его в сумерках было так похоже на лицо мертвеца, что Дезире, содрогнувшись, отошел от него.

Разводить костры было запрещено, но крестьяне получили разрешение войти в лагерь, и с корзинами в руках обходили пленных, продавая хлеб, яйца и молоко. У многих пленных, особенно у офицеров, держащихся от солдат особо, были деньги, и завязалась бойкая торговля. Корзины с хлебом опорожнялись в одну минуту, раздавался звон монет, и среди офицерских палаток стали раздаваться оживленные голоса. По просьбе посланного к начальнику отряда охраны, представителя господ офицеров, было дано разрешение, в виде исключения, развести костер, и вскоре между палаток затрещал веселый огонь, озаряя беглым пламенем лица ужинающих.

Дезире купил себе небольшую булку и с жадностью съел ее, но тотчас у него появилась страшная жажда

и он начал бродить по лагерю в тщетной надежде найти источник воды. Колодец, находившийся недалеко от деревни, был пуст; видно, предыдущий эшелон выкачал его до дна; тоже было и с небольшим водоемом в лесу, который, весь истоптанный тысячью ног, превратился в грязное болото. Истомленный усталостью и жаждой, Дезире хотел уже отправляться назад к своей роте, как вдруг, за группой деревьев, столкнулся лицом к лицу с лейтенантом д'Оже. При виде Дезире подобие улыбки скользнуло по сухим чертам лейтенанта.

— Я искал тебя,—сказал он, положив руку на плечо Дезире,—я боялся, что ты остался где-нибудь в пути и что тебя пристрелили эти черти пруссаки.

Дезире улыбнулся широкой улыбкой; слова лейтенанта и необычная ласковость его тона сделали его сразу счастливым.

— Спасибо, господин лейтенант,—сказал он,—благодаря богу я оказался не слабее других и кое-как добрался до стоянки.

— Чего же ты теперь-то бродишь,—продолжал д'Оже, пристально вглядываясь в него,—чего ты ищешь?

— Пить хочется,—признался Дезире, который при вопросе лейтенанта опять с остротой почувствовал жжение в горле и сухость языка.

— Только всего! Ну, за этим дело не станет.—И лейтенант протянул ему свою флягу, которая была до краев налита крепким чаем, смешанным с коньяком.

Дезире припал к фляге и жадно выпил несколько глотков.

— А как же вы,—сказал он, отрываясь от напитка,—что же вы будете пить?

Лейтенант усмехнулся.

— Я не рассчитываю пробыть в этом лагере очень долго, а в деревнях недостатка воды не будет. Думаю, что и ты последуешь моему примеру и не откажешься помочь мне!

— Бежать? Вы хотите бежать?—воскликнул Дезире, всплескивая руками.

— Ну, да, дуралей, я хочу бежать. Чего же ты так испугался. Не сидеть же мне в немецкой крепости недели и месяцы. Я думаю, что стою лучшей участи. Но слушай, дело надо делать быстро. Я надеюсь на тебя. У этих крестьян мы можем купить одежонку, которая прикроет наши мундиры. В таком виде выбраться из лагеря вместе с крестьянами нам, пожалуй, удастся. Вот тебе деньги, во что бы то ни стало ты должен достать две фуражки и какую-нибудь одежду. Смотри, чтобы тебя не поймали. Я буду ждать тебя здесь. Сам понимаешь, что за нашим братом-офицером, больше следят, чем за простым солдатом. Ступай!

Дезире беспрекословно повиновался. Дело, порученное ему, было далеко небезопасно. Торговля вся происходила у самой линии часовых, и если бы Дезире был пойман за покупкой вещей, явно необходимых для бегства, ему грозил бы немедленный расстрел.

Однако, мысль о том, что лейтенант д'Оже мог сам разделить с ним опасность предприятия, ни разу не мелькнула у него в голове. Дезире так привык рабски подчиняться, что и здесь приказания начальника казались ему вполне естественными.

Он смешался с толпой крестьян, и тотчас ему бросилась в глаза фигура молодой, черноглазой девушки, которая держала в руке большую корзину, покрытую полотенцем.

— Хлеба, хлеба, кому свежего хлеба?—говорила она, изредка вытаскивая из-под полотенца небольшую румяную булку.

Вся фигура продавщицы дышала женственной прелестью, а в больших глазах светилась молодая жизнерадостность и вместе с тем робкое сострадание к несчастным, которые ее окружали.

Дезире подошел к ней.

— Купите хлеба!—звонко закричала она, в то время как ее глаза встретились с глазами Дезире, смотревшими на нее с волнением и вопросом. Словно искра пробежала между ними, казалось, они сразу поняли друг друга. Дезире шопотом, одними губами, произнес слово „бежать“. Она оглянулась, быстро кивнула головой и, удостоверившись, что за ней не следят, сказала тихо:

— В корзине вы найдете все, берите всю корзину,— и опять, отвернувшись, закричала звонким голосом:

— Хлеба, хлеба, свежего хлеба!

— Эй, красавица,—нарочно громко заговорил Дезире,—я беру всю корзину для себя и для товарищей,—и он протянул ей монету.

Корзина была у него в руках; девушка скрылась в толпе, бросив последний взволнованный и сочувствующий взгляд на него. Дезире стал пробираться среди рядов, чувствуя, что корзина стопудовой тяжестью ложится на его руку. Ему казалось, что все обращают на него внимание и что вся его фигура с оттопыренными руками имеет особенный, подозрительный вид.

Однако, делалось совсем темно, и никто не обратил на него внимания. Лейтенант д'Оже ждал его на прежнем месте, шагая взад и вперед между двумя столетними дубами; он нервно покусывал сорванную им веточку и, когда Дезире подошел к нему с корзиной, он холодно сказал:

— Где пропадал так долго? Дай сюда,—и резким движением вырвал у него из рук корзину.

На дне ее оказалась одна смятая блином фуражка, рваное пальто, брюки и куртка, доходящая до колен.

— Здесь и на одного насилие хватит,—проворчал лейтенант,—впрочем, ладно, устроимся как-нибудь.

С этими словами он кинул Дезире куртку и, забрав все остальное, исчез в палатке, находившейся тут же. Дезире зашел за дерево, скинул с себя шинель и надел куртку; однако, он чувствовал, что отсутствие фуражки выдает его. Никогда не посмеет он с непокрытой головой пройти мимо прусских часовых.

Между тем лейтенант в один миг превратился из щеголя-офицера в оборванного крестьянина с надвинутой фуражкой и висящими брюками. Он был неузнаваем.

— Давай мне корзину и идем,—сказал он, даже не глядя на Дезире, странный вид которого бросался в глаза.

— Господин лейтенант, я без фуражки...—робко начал тот.

— Ах, да ну, об этом заботься сам! Да повараживайся, нам надо смешаться с толпой продавцов,—одних нас не выпустят,—и он зашагал вперед, держа на виду корзину.

Счастливым случаем помог Дезире. Двое мальчишек, торгующих папиросами, вступили в драку и в пылу сражения один из них потерял фуражку.

Дезире нагнулся, быстрым движением схватил ее и сунул себе в карман. Они уже подходили к линии часовых. Толпа продавцов выходила из лагеря. Лейтенант очень естественно шел, волоча ногу и выкрикивая:

— Хлеба, хлеба, недорогой хлеб, последние булки!

Дезире надел на голову фуражку и шел за ним. В руках у него ничего не было. Ему казалось невероятным благополучно выбраться из железного кольца прусских часовых, и все-таки он покорно шел за своим начальником, как бы прикованный к нему непонятной силой.

Однако, ночь сделалась так темна, что часовые не обратили внимания на пустые руки Дезире, и вскоре оба беглеца очутились вне лагеря, среди поля. Лейтенант продолжал идти, также медленно волоча ногу, а Дезире казалось, что еще мгновение, у него не хватит сил сдерживать свое волнение и он побежит, что есть сил, прочь от страшного лагеря.

Только когда лагерь исчез за рощей, д'Ожэ оставался.

— Свободен, — сказал он, скинув фуражку, — вот что значит иметь голову на плечах! Садись, Дево, ночь так темна, что сейчас нам бояться нечего. Надо выбрать направление. Боюсь, что на всех дорогах мы можем наткнуться на прусские посты.

Дезире присел у ног лейтенанта. В темноте обрисовывались только смутные контуры деревьев, изредка тишину нарушали отдаленные выстрелы. Дезире чувствовал, что он совершенно обессилен. Налево от них было картофельное поле.

— Надо спать, — сказал д'Ожэ, пробираясь по меже, — через два часа мы должны быть на ногах. Смотри, не проспи и разбуди меня.

И с этими словами он завернулся в пальто, положил под голову фуражку и вскоре захрапел. Дезире остался на часах.

ГЛАВА IV

У границ Бельгии

Три дня и три ночи беглецы скитались по полям и лесам в надежде найти дорогу к границам Бельгии, Оттуда лейтенант рассчитывал пробраться в Париж и, разузнав о положении дел, решить свою дальнейшую судьбу. Известия о падении империи, о провозглашении республики, о выборе временного правительства, конечно, не доходили до них. Населенных мест они избегали, так как всюду могли наткнуться на пруссаков, спали на голой земле и питались небольшим количеством хлеба, который лейтенант унес в своей корзине. Испечь картошку, которую легко можно было нарыть ночью в крестьянских полях, они не решались, считая опасным разводиться огнем. Нечего и говорить, что большие куски доставались офицеру. Дезире и здесь приходилось ему служить; несмотря на весь ужас и бедственность положения, которые могли бы, казалось, стереть между ними классовую разницу, д'Ожэ продолжал обращаться с Дезире, как с низшим существом, которому он оказывает честь своей близостью. Правда, иногда, против воли, тронутый самоотверженной преданностью Дезире,

он покровительственно похлопывал его по плечу, говоря:

— Погоди, брат, дай нам только благополучно выбраться из этой чертовской мышеловки, и я сумею вознаградить тебя за твою службу.

И тотчас, забыв о Дезире, он погружался в свои планы на будущее и расчеты. Дезире верил, что служба лейтенанту, он вместе с тем служит и родине. Он столько раз слышал от него хвастливые уверения в доблести французского офицерства, столько слышал насмешек над пруссаками, которых с позором загонят в глубь Германии, что в его наивном уме создалось убеждение в том, что лейтенант д'Ожэ истинный герой, призванный спасти родину. Каждый вечер, по глубоко вкоренившейся деревенской привычке, он становился на молитву и немедленно, после поминания матери, просил бога взять под свою защиту доблестных защитников отечества, т. е. господ офицеров и генералов. Теперь же, в течение этих трех мучительных дней, когда они, как загнанные звери, прятались в густой траве и в кустарниках, ослабевшие от голода, доедали жалкие крохи черствого хлеба и тщетно искали верной дороги, Дезире не думал ни о чем. Ему казалось, что мысли и чувства отсутствуют в нем, и приказания лейтенанта он исполнял механически, как машина. К довершению всех бед, на третий день полил проливной дождь и в течение шести часов лил без остановки. Беглецы про-

мокли до костей, и Дезире, стуча зубами от холода, шел покачиваясь, как пьяный, все по тому же проклятому лесу, где всюду таилась для них опасность.

— Чорт возьми, — ругался лейтенант, — понять не могу, где мы находимся—лес, лес без конца. Седан остался от нас направо, и, судя по моим сведениям, мы должны быть недалеко от границы. Только идиоты могут давать сражение, не имея в руках плана местности. И мы именно и оказались такими идиотами!

И он энергично плюнул, вспомнив о том, что генеральный штаб перед началом кампании роздал офицерам только карту Германии, вполне уверенный в том, что война будет происходить на вражеской территории.

— Я вижу, Дево,—продолжал лейтенант,—что нам пора перестать праздновать труса. Кружиться на одном месте не имеет смысла; дорогу надо узнать, а узнать мы ее можем только от живого человека. Надо выйти к жилью. Правда, это опасно, нас могут схватить, но, с другой стороны, мы и в лесу можем подохнуть с голоду.

— Куда же нам итти?—с тупой покорностью произнес Дезире, мутными глазами глядя перед собой.

— Видишь эту тропинку? — сказал лейтенант, указывая на слабо протоптанный след,—куда-нибудь она должна нас привести, хоть чорту в лапы, но эта бродячая жизнь становится мне не под силу.

В опасных местах Дезире всегда шел впереди. Так случилось и теперь: лейтенант шел за ним, зорко вглядываясь в чащу леса и прислушиваясь к каждому звуку.

Вдруг впереди явственно послышался треск сучьев и чьи-то шаги.

— Осторожнее, — прошептал лейтенант, замедляя шаг, но Дезире продолжал все так же безучастно идти вперед.

За поворотом перед ними стоял седой старик с топором в руках и вязанкой хвороста за плечами. По его добродушному, сосредоточенному виду можно было понять, что мысли его где-то далеко. Повидимому, это был местный житель и, конечно, не прусский шпион. Лейтенант смело пошел ему навстречу, но вид двух страшных оборванцев с истомленными лицами и лихорадочным взором, внезапно очутившихся перед ним, испугал старика, и он слегка попятился.

— Не бойтесь нас, — сказал лейтенант, — вы видите перед собой двух несчастных беглецов, умирающих с голоду; вот уж три дня как мы бродим по лесу, ища дороги в Бельгию. Мы смертельно устали и каждую минуту можем быть расстреляны пруссаками-часовыми.

Лицо старика при первых же словах лейтенанта приняло новое выражение, как будто даже слезы мелькнули у него на глазах.

— Проклятые, — проворчал он сквозь зубы, — вот до чего они довели нас. И зачем было лезть в эту ужасную войну!

С этими словами старик развязал висевший у него через плечо мешок и вытащил из него большую краюху свежего хлеба, пол сыра и бутылку сидра.

— Вам надо, прежде всего, подкрепиться, молодцы, — прусских постов поблизости нет, и вы можете спокойно закусить.

Руки Дезире дрожали, когда пальцы его жадно отламывали хлеб и куски сыра. Сидр влил в него необычайную бодрость. Лейтенант молча и сосредоточенно ел, не поднимая глаз на старика.

— А теперь садитесь-ка вот сюда, под дерево, — сказал старик, — и потолкуем. Дорогу в Бельгию найти легко, и счастье ваше, что вы наткнулись на такого старого воробья, как я, который знает все ходы и переходы. Страшиться надо только этих чертей-пруссаков; их офицеры, конечно, такие же канальи, как и наши, и милости ждать от них нечего.

При этих словах лейтенант поморщился, но, боясь потерять драгоценные указания старика, не выдал себя ни единым жестом.

— И подумать только, сколько народу испортили по милости этих негодяев! Ну, да теперь уж делать нечего, когда пруссаки забрались в самую глубь Франции, приходится их вышибать. Всем известно, что за глупость императора народу приходится платиться своей кровью.

— Ну, как же дорога в Бельгию? — нетерпеливо прервал его лейтенант.

— Да, да, дорогу в Бельгию... понимаю; конечно, вам надо торопиться. Так вот, приятели, идите этой тропинкой все прямо, до часовни, тут я знаю, никаких прусских постов нет. Когда дойдете до часовни, поверните налево и держитесь направления на закат. До бельгийской границы там будет не более трех километров. Что же касается пруссаков, то тут уж я ничего не знаю. Возьмите с собой хлеба на дорогу, и желаю вам удачи.

Лейтенант сунул руку в карман и протянул старику золотую монету. Тот отрицательно покачал головой.

— За такие услуги денег не берут, молодой человек, — сурово сказал он, — бедняки должны помогать друг другу. Ступайте себе и берегитесь пруссаков.

С этими словами он вскинул на плечи вязанку хвороста и большими шагами удалился в глубь леса.

Ночь сгустилась, когда лейтенант и Дезире дошли до покривившейся часовни; дождь прекратился, но тучи густой пеленой продолжали медленно ползти по небу. По деревьям пробегал легкий ветерок. Нигде не раздавалось ни звука; казалось лес был мертв. Лейтенант остановился на мгновение, зорко вглядываясь в темноту, и затем решительными шагами пошел по указанному стариком пути. Оба шли молча, напряженно прислушиваясь. Нервы их были так натянуты, что порой им чудились шаги и голоса, и они останавливались в холодном поту с бьющимся сердцем.

Иногда, принимая неподвижные деревья за людей, они, охваченные страхом, бросались в чащу леса или оставались стоять неподвижно, скованные ужасом.

Но, наконец, когда они уже начали привыкать к опасности и когда лейтенант, подгоняемый нетерпением, ускорил шаг, надеясь еще до света дойти до бельгийской границы, они за группой деревьев действительно натолкнулись на прусский пост, отдыхающий при свете потухающего костра. Часовые были в десяти шагах от них, и один из них услышал треск сучьев. Вмиг поднялась тревога. Лейтенант и Дезире бросились бежать; они уже не обращали внимания на дорогу и прыгали через пни и канавы, стараясь укрыться в темноте. Догонять их никто не кинулся, но частая ружейная стрельба, как горох, посыпалась по лесу. Пруссаки стреляли в темноту наобум. Внезапно Дезире издал сдавленный крик и, как бы споткнувшись, упал во весь рост в высокую траву. Д'Ожэ нагнулся над ним.

— Лейтенант, — шепнул Дезире, — я ранен в ногу, я не могу дальше идти.

Из уст лейтенанта посыпались проклятия: дать себя так глупо подстрелить, быть раненым в ногу, когда все зависело от скорости их бегства!.. Это была уже черезчур большая неудача. Дезире почувствовал, что от боли и обиды слезы выступили у него на глазах.

— Оставьте меня, лейтенант, — сказал он, — все равно мне уж не выбраться из леса и не миновать попасть в руки пруссаков.

Лейтенант в нерешимости стоял над ним. Предоставить Дезире своей судьбе, оставить его одного, раненого, в лесу, в десяти шагах от прусского поста, который, несомненно, расстреляет его, как военнопленного,—на это у лейтенанта не хватало решимости. Однако, не жалость мешала ему бросить своего спутника, внутренний голос подсказывал ему, что Дево мог быть ему еще полезен и что, проявив к нему хоть тень внимания, он уже навсегда привяжет к себе этого преданного человека.

— Не болтай глупостей,—сказал он,—дай мне оттащить тебя подальше, а там мы уже потолкуем о том, что предпринять.

Лейтенант с легкостью, выдаваемой огромную силу, поднял Дезире на руки и, взвалив его на плечи, легко зашагал между деревьев. Оба молчали; чувство благодарности охватило Дезире. Он был готов к тому, что будет оставлен раненым в лесу, а, между тем, офицер поднял его и понес на своих собственных плечах, теряя дорогие минуты ради его спасения. Не прошел д'Ожэ и сотни шагов, как снова перед ними заблестел среди деревьев огонек; но на этот раз это не был свет потухающего костра,—светилось приветливо во мраке освещенное лампой окно маленькой лесной хижины. Д'Ожэ положил Дезире на землю, причем резким движением задел ему ногу так, что Дезире застонал.

— Лежи здесь и жди меня,—сказал он отрывисто,—надо разузнать, что это за домишко и не придется ли нам и здесь наткнуться на пруссаков.

И он быстрыми неслышными шагами направился к хижине.

Лампа, привлекая во мраке внимание беглецов, озаряла хижину, состоявшую из одной комнаты: деревянный стол, деревянная кровать и скамейка составляли всю ее обстановку; на стене висело ружье, в очаге горел огонь и на нем запевал свою песенку большой медный чайник. Старик-дровосек, тот самый, который час назад показывал беглецам дорогу, сидел за столом, склонив седую голову на руку и глубоко о чем-то задумавшись. Увидав эту мирную картину, лейтенант два раза слегка стукнул в стекло.

Старик поднял голову, медленно встал и подошел к окну.

— Кто здесь?—спросил он, взглядываясь в темноту.

Лейтенант постучал вторично, старик приоткрыл окно.

— Отоприте,—сказал д'Ожэ,—умоляю вас, отоприте. Мы те самые беглецы, которых вы встретили в лесу; товарища моего ранили в ногу, и он не может идти; впустите нас, хотя бы часа на два, к себе.

Лицо старика не изменило своего спокойного выражения, он слишком привык за время войны к зрелищу человеческих страданий.

— Да, я слышал выстрелы,—сказал он,—подождите меня, я сейчас к вам выйду.

И взяв с кровати одеяло, он спустил слегка фитиль лампы и вышел из дому.

— Где ваш товарищ? Мы перенесем его в дом на этом одеяле, а чай у меня уже закипает.

Через пятнадцать минут Дезире лежал на кровати дровосека, и старик, обмывший его рану, туго-натуго перевязал ее чистой полотняной тряпкой.

— Рана пустячная,—сказал он,—в этих делах я понимаю толк; пуля вышла навывлет и очень слабо задела кость; придется пролежать не более пяти, шести дней.

— Да, легко вам говорить,—сказал лейтенант, который все время нервно ходил по комнате, с беспокойством поглядывая в темные окна,—в пять или шесть дней мы могли бы добраться до Парижа.

Старик усмехнулся.

— Надо радоваться тому, что вы вышли живыми из рук пруссаков, вы были на волосок от гибели.

Дезире поднял глаза на лейтенанта.

— Вы не должны больше думать обо мне, лейтенант,—сказал он;—одному вам легче будет добраться до границы, я переночую здесь, а на утро потихоньку двинусь дальше. Вам же я буду только мешать.

Старик покачал головой.

— Нет, мальчик,—сказал он,—это не годится. Пускай господин лейтенант, так, кажется, ты его назвал,—сказал он, холодно взглянув на офицера,—продолжает свой путь. Спасибо ему, что принес тебя сюда,—это не всякий бы сделал. А ты оставайся здесь,

пока не поправишься. Пруссаков я не боюсь,—сказал он, видя протестующий жест Дезире,—заходят они сюда редко, а про тебя я скажу, что ты мой семнадцатилетний внук, больной лихорадкой. Вид у тебя такой, что тебя смело можно принять за семнадцатилетнего. А когда поправишься,—можешь продолжать свой путь.

Дезире протянул руку старику.

— Как мне благодарить вас?—сказал он, с выступившими на глаза слезами.

Между тем, лейтенант был в восторге от предложения дровосека.

Дезире так ослабел за последние сутки, что уже перестал оказывать лейтенанту нужные услуги, а с той минуты, как его нельзя было использовать для себя, лейтенант стал смотреть на него только как на обузу и был очень рад от него избавиться.

— Старик прав,—сказал он,—мы должны расстаться; мое присутствие здесь могло бы навлечь подозрение на нашего хозяина. Оставайся здесь, Дево, и как поправишься,—пробирайся в Париж. Адрес мой тебе известен и найти меня легко. Возьми эти деньги,—они тебе пригодятся в дороге.

И с этими словами лейтенант выложил на стол три золотые монеты. Дезире, преисполненный благодарности, в благоговейном восторге глядел на своего обожаемого лейтенанта. Он вывел его из плена, вынес на своих плечах из-под выстрелов, спас его жизнь

и теперь продолжает делиться с ним последними деньгами.

Для Дезире эти три золотые монеты были таким огромным богатством, что он и предположить не мог, что в кармане лейтенанта их отсутствие будет совершенно незаметно.

Но лейтенант не любил лишних слов, и потому прощание было кратко: он даже не протянул руки Дезире, а только кивнул ему головой, также как и хозяину и, отворив дверь, быстрыми шагами удалился в темнеющий лес.

— Скатертью дорога,— мрачно пробормотал старик, глядя ему вслед.

ГЛАВА V

„Правительство измены“

Вокруг Парижа замыкалось железное кольцо прусской армии. Один момент, после Седана, взрыв патристического восторга, казалось, объединил в одном общем чувстве всех граждан от мала до велика. Родина была в смертельной опасности. Волна народного гнева смыла империю, бросившую Францию в эту преступную войну. Седанский пленник, Наполеон III, отдавший свою шпагу прусскому королю, был далеко

от Франции, в почетном заключении в Вильгельмсгёз. Дни этого преступного авантюриста были сочтены.

В продолжение двадцати лет он играл, как игрушкой, счастьем и честью целой страны, расточал народные деньги на дикие прихоти двора и буржуазии, льстил низким страстям приближенных, заигрывал с демократами, бросая жалкие подачки изголодавшемуся народу, бросался в авантюры внешних войн, пытаясь военной славой создать себе ореол могущества. В стране, в которой с виду все было блеск и роскошь, начиная с рабочих касс взаимопомощи и детских колоний и кончая всемирной выставкой, давно уже подгнил фундамент благополучия императорской династии.

Седанская катастрофа нанесла ей последний удар.

В то время как превратившийся в тень, умирающий бывший император томился среди воспоминаний своей преступной и роскошной жизни, глухой ночью из потайной двери замка Тюльери, в сопровождении фрейлины двора, в глухом черном платье выходила красавица-императрица Евгения, спасаясь от народного гнева; страх, ужас, негодование, досада владели душой этой женщины, которая являлась одним из главных рычагов, двинувших Францию в пагубную войну.

Империя умерла, и, казалось, заря новой жизни всходила над окровавленной Францией, хотя прусские штыки и стояли грозной стеной под укреплениями Меца, Страсбурга и Туля.

Общее горе объединило всех в одном стремлении избавиться прежде всего от пруссаков. Когда минует это бедствие, новая Франция родится на обломках гнилой империи. 4-ое сентября было днем величайшего народного подъема и единения всех желаний,—национальная гвардия с барабанным боем проходила по улицам Парижа с красными лентами на ружьях, а женщины - работницы приветствовали марсельезой освобождение от тирании. Всем хотелось верить, что наступил конец страданиям родины. Свет надежды загорелся на миг, но ему суждено было померкнуть в кровавом тумане. Очень скоро для тех, чьи глаза умели зорко вглядываться в смысл событий, стало ясным, что в сущности ничего не переменилось и что по-прежнему буржуазия стоит во главе страны, блюдя только свои интересы. Бедняку по-прежнему не было места среди тех, кто решал судьбу страны. Правительство национальной обороны, то правительство, которому рукоплескал весь Париж и которое превозносили газеты, уже получило среди рабочих кличку «правительства измены». Кому же можно было верить? Кто мог спасти родину и свободу? Кто поведет угнетенные массы на борьбу с вечно возрождающейся тиранией?

Между Тамплем и Шато д'О, недалеко от городской думы, есть закрытая со всех сторон площадь. Это место сырое, скрытое за высокими домами. Внизу, в подвальных этажах, живут мелкие торговцы, дети

которых играют на тротуаре. Здесь не слышно стука колес. Наверху—мансарды заселены бедняками. Этот пустой треугольник называется площадью Кордери.

Место это печально и пустынно, но отсюда раздался первый сигнал, был брошен лозунг, к которому чутко прислушались массы.

В третьем этаже одного из домов, повернутого фасадом к рынку, маленькая ослабевшая на петлях дверь открывается в пустую холодную комнату, напоминающую рекреационный зал жалкого колледжа. Здесь вы увидите людей в блузах, сидящих на скамейках, стоящих у стен, облокотившихся на трибуну. Кто они? Лица их никому не знакомы и не попадают ни в одном политическом журнале. И, однако, перед вами—сама революция, революция в блузе рабочего. Здесь интернациональная ассоциация рабочих ведет свои заседания, и федерация рабочих корпораций назначает свои собрания. Это место более величественно, чем античный форум, и через окна этого дома зазвучали на улицу слова, которые заставили содрогнуться весь мир, как некогда слова Дантона, которыми он потрясал стены Пале де Жюстис.

Здесь—все просто. Труд, простой и сильный, с руками кузнеца, труд, орудия которого сверкают сталью во мраке, восклицает:

— Меня нельзя убить, меня нельзя убить,—и вот, наконец, вы слышите мой голос!

Многие содрогнулись при звуках этого голоса, но благородные сердца поняли, что спасение могло исходить только из глубины этой неведомой, темной площади.

Старый наш знакомый Оливье не покидал Парижа с момента объявления войны,—он был одним из тех немногих, которые не поддались всеобщему энтузиазму в незабвенный день 4-го сентября.

— Подождем,—говорил он маленькой Мари, которая со всей страстностью и доверчивостью истинной дочери Парижа сердилась на его сдержанность,— подождем и посмотрим, что сделает новое правительство. Имена их не внушают мне доверия. Буржуазия не может быть другом рабочих.

Страстный революционер, обладающий тончайшим чутьем к смыслу всех событий, он грудью бросился в борьбу, которая с первых же дней власти нового правительства все резче обострялась между буржуазией и пролетариатом. С каждым днем доверие к людям 4-го сентября падало в Париже.—Что сделали они?—спрашивали себя парижане в конце октября.

Последние французские войска были приперты к укреплениям Меца. Через брешь, пробитую в Эльзасе, текла неудержимая волна победителей. Немецкие батальоны разливались, как река, на галльской земле, и тяжелые шаги Бисмарка отдавались болью в сердцах французов. Туль и Страсбург были обращены в пепел; Марсель и Лион—сдались; Плацбург—бомбардировали,

Наконец, Париж, вокруг которого стояла поясом огромная армия Винуа, уже три недели был отрезан от Франции. Буржуазия, охваченная сомнениями и раздорами, сомневающаяся в пользе сопротивления, начала мечтать о мире; часть ее стремилась к реставрации, другая—страстно поддерживала правительство, ненавистное рабочим. Там вдали, за линией прусских войск, провинция ненавидела Париж, а крестьяне, проклиная войну и революцию, стремились к миру какой бы то ни было ценой.

Наконец, над Парижем, как шквал, пронеслось 31 октября. Париж заволновался, как бурное море. Огромные толпы людей, с выражением боли и гнева на лице, бурным потоком неслись в сторону ратуши¹⁾. Страстный Оливье, в толпе рабочих, уже не обсуждал ошибок правительства, он только требовал его свержения. Когда вместе со своими товарищами он вышел на Гревскую площадь, он уже перестал слышать ропот толпы, он сам сделался одним из голосов, одной из тысячных частей этого огромного людского сборища, из которого поднимались возгласы восторга, проклятий и угроз. Он был одним из тысячи дыханий, из которых должно было родиться таинственное «завтра».

Треугольник, заключавшийся между Гревской набережной, смежными зданиями и улицей Риволи,

¹⁾ Городская Дума.

представлял из себя черную, кипящую массу. Напротив, над морем людских и лошадиных голов, над флагами и дулами ружей, Городская Дума в сумерках возвышалась своим монументальным фасадом с блестящими часами над высокими окнами, из которых высовывались до пояса жестикулирующие фигуры. Раздавались разговоры и восклицания:

— Долой Тьера!

Из этих окон говорил Этьен Араго.

— Что он сказал?

— Муниципальные выборы приняты правительством.

— Значит, коммуна...

— Да здравствует коммуна!

— Нет, нет, никакой коммуны!—Араго сам крикнул это.

— Коммуна, коммуна!

Поодаль говорили:

— Войска на стороне народа.

— Правительство подало в отставку.

Из рук в руки переходили списки членов правительства. Раздавались крики «ура». Вдруг произошла страшная давка. Сквозь лес ружей и поднятых рук ничего не было видно, и волна народа подхватила Оливье и втокнула его внутрь здания. Перед ним мелькнули сидящие за столом члены правительства: Жюль Фавр с презрительным лицом, генерал Трош в кепи с золотыми галунами, Гарнье-Пажес в отложном воротнике. Все они были очень бледны. Жюль

Фавр встал и хотел заговорить, но со всех сторон раздались голоса: «Коммуна, да здравствует коммуна!». Наступала ночь, смена правительства, казалось, совершилась, членов его вывели бледными, осунувшимися со слипшимися волосами и ввалившимися глазами...

Но порыв народа оказался тщетным, цепкая буржуазия была еще сильна. К ночи «регулярная» освободила свое правительство, и оно снова вошло в здание Городской Думы, где продолжало свое разрушительное дело.

ГЛАВА VI

Снова в Париже

Над Парижем спускался туманный ноябрьский вечер; некогда оживленные улицы огромной столицы казались теперь странно широкими и опустевшими; гулко раздавались среди домов шаги одиноких прохожих. По улице Кордери быстрыми шагами шли Оливье и Мари. Оливье так широко шагал своими огромными ногами, что маленькая Мари едва поспевала за ним; однако, она старалась не отставать и весело бежала рядом, постукивая высокими каблуками своих изношенных, некогда щегольских ботинок. Они шли почти молча и только изредка Оливье бросал

взгляд на свою маленькую спутницу и останавливался на мгновение, чтобы дать ей отдышаться. Наконец, в темноте улицы, перед ними показался заветный дом, сиявший светом множества окон, за которыми мелькали беспокойные тени.

— Ну, вот, воробышек, мы и пришли,— сказал Оливье,—ласково оглядываясь на остановившуюся позади девушку;—наверно, ты натерла себе до крови лапы в своих глупых туфлях. Научись в другой раз не корчить из себя барыни.

Мари весело рассмеялась.

— Ты прекрасно знаешь, Оливье, что мои туфли не мешают мне быть добрым товарищем, а уродовать себе ногу грубой обувью не согласится ни одна настоящая парижанка.

— Ладно,—сказал Оливье, дружески хлопнув ее по плечу,—пруссаки отучат тебя от этих прихотей; если они будут нам черезчур надоедать, мы и вас, баб, заставим взяться за ружье.

Оливье открыл двери и начал подниматься по лестнице. Здесь все было тихо, маленькая керосиновая лампа, привязанная к перилам веревкой, тускло освещала ступеньки. Сверху доносился шум голосов,двигаемых стульев и топот множества ног. В третьем этаже дверь была открыта, голоса доносились оттуда. Оливье вместе с Мари вошли в зал. В клубах табачного дыма сидели, двигались и говорили люди, одетые в блузы; мелькало несколько кепи национальных

гвардейцев. На трибуне горбун, окруженный группой рабочих, говорил, однообразным жестом поправляя очки на носу.

— Помните, товарищи,—говорил он,—слово «Интернационал» уже с 60-х годов беспокоит буржуазию. Они знают нашу мощь, они боятся нас, они рукоплещут «правительству измены», потому что знают, что оно, как сторожевой пес, хранит их интересы. Но в страхе наших врагов мы черпаем свою мощь. Наш голос должен звучать все громче и громче, пока он не сделается тем набатом, который покроеет собой все остальные голоса. Нас хотят заставить покориться тем, кого выбрали. Нас хотят запугать этим. Но кто же из нас не знает, как проходили эти выборы? Кто из нас не знает, кто такой Тьер—этот агент буржуазии?

— Тьер продает нас!—раздались голоса.

— Куда поехал Тьер, зачем?—закричал кто-то.

Оливье пожимал руки направо и налево. Горбун кончил и сошел с трибуны.

Он подошел к Оливье.

— Тебя спрашивал здесь какой-то человек,—сказал он,—и я сообщил ему, что ты должен скоро притти. Он очень хотел видеть тебя; вероятно, и сейчас сидит в соседней зале.

— Рабочий?—спросил Оливье.

— Нет, не разберу; по виду скорее солдат, хотя одет он просто в лохмотья. Впрочем, сам сейчас увидишь; я уверен, что он еще не ушел.

Когда Оливье вышел в соседнюю залу, он действительно увидел в полумраке фигуру человека, которая показалась ему незнакомой. Черная беспорядочная борода обрамляла молодое лицо с большими голубыми глазами. Истощение и страдание наложили неизгладимую печать на эти черты.

— Вы не узнаете меня?—спросил незнакомец.

Оливье отрицательно покачал головой.

— Меня зовут Дезире Дево. Три месяца назад я познакомился с вами в трактире Золотого Льва.

Лицо Оливье прояснилось, он дружески улыбнулся и протянул руку Дезире.

— Рад вас видеть, товарищ! По правде говоря, мы уже давно потеряли надежду видеть вас живым. Ведь вы были в 7-ом корпусе, под Седаном?

— Да,—сказал Дезире,—я бежал из плена; впрочем, все это я расскажу вам потом; я только недавно пробрался в Париж и мне посчастливилось довольно скоро найти вас. Ваша квартирная хозяйка указала мне улицу Кордери. В Париже я никого не знаю и решил попросить вас помочь мне устроиться.

— Ты будешь моим гостем, дружище,—сказал Оливье, переходя на дружеское „ты“ и кладя руку на плечо Дезире.—Мы живем в такое время, когда всякому честному человеку надо бороться. Но сейчас самое нужное для тебя это—отдых. Помнишь ли ты Мари?

Дезире покраснел.

— Помню,—тихо сказал он.

— Девочка здесь, она проводит тебя на квартиру и накормит тем немногим, что я могу тебе предложить. Мари!—крикнул он.

Мари вошла, и при виде Дезире радостная улыбка озарила ее детское личико.

Оливье засмеялся.

— Видно, она сразу узнала тебя. Когда же вы, однако, успели так хорошо познакомиться?

Молодые люди со смущенной улыбкой глядели друг на друга. Мари была все такая же, как и три месяца тому назад, только бледность ее лица и синева под глазами свидетельствовали о бессонных ночах и недоедании. Дезире же, обросший черной бородой, исхудавший и возмужавший, так сильно изменился, что Мари с любопытством вглядывалась в его черты. Вскоре они были уже на улице.

— Идите домой и ждите меня,—сказал им Оливье,—я побуду здесь еще некоторое время, так как надо поговорить с товарищами.

Когда маленькая комната Оливье озарилась светом керосиновой лампы и на спиртовке запел небольшой чайник, Мари усадила Дезире на койку, а сама села перед ним на низенький табурет, обняв руками колени.

— А теперь рассказывайте,—сказала она.

Как ни тяжело было Дезире вспоминать все пережитое за последние месяцы, но устоять против

ласкового тона девушки он не мог, и подчинился ее приказанию. Он развернул перед ней всю картину бедствий, которые сыпались на его голову с той минуты, как он покинул Париж, и до того вечера, когда старик дровосек приютил его у себя, раненого и одинокого.

— Вместо пяти дней, мне пришлось пролежать у него больше месяца,—говорил Дезире,—так как рана моя не заживала; целые дни я лежал один на койке, пока старик уходил в лес. Он был очень добр ко мне, и когда я стал поправляться, долго еще не позволял мне покинуть его дом, не надеясь на мои силы. Он довез меня до границы на телеге, выдавая за своего сына. Все, что надето на мне,—дал мне старик; быть может, это были его лучшие вещи... Если бы не его доброта, я бы умер с голоду или попал в руки пруссаков.

— Ваш лейтенант, конечно, не позаботился о вас?— сказала Мари.

— Ах, не говорите так,—горячо возразил Дезире,— он вынес меня на своих плечах из леса, он дал мне денег, благодаря которым я добрался до Парижа. Лейтенант сделал для меня столько, что я всей жизнью не сумею отплатить ему.

— Он не должен был покидать вас,—упрямо сказала девушка.—Где он теперь?

— Вероятно, здесь, в Париже, и завтра же я пушусь разыскивать его. Ах, если бы я только мог быть чем-нибудь ему полезен.

Мари грустно взглянула на Дезире.

— Вы все еще верите им,—сказала она со вздохом.

На другое утро Дезире проснулся, как от толчка; накануне, усталый от мыслей и впечатлений, он бросился, не раздеваясь, на кровать и проспал двенадцать часов сряду. Он протер глаза и сел на постели. Вмиг воспоминания вчерашнего дня, встреча с Оливье, беседа с Мари воскресли в его памяти. Ему вспомнились пустынные улицы холодного Парижа, слабо освещенные лившимся из окон светом. Вставать ему не хотелось, все тело ныло от усталости. Ах, если бы можно было снова надолго погрузиться в глубокий сон без видений и без тревог! Мысли, что теперь неотвязно сверлили его мозг, измучили его. За последнее время он потерял самого себя. Как жить, кому верить, кто прав среди всеобщих противоречий? Дезире чувствовал, что был не в силах решить эти вопросы. До сих пор в его уме еще не пробудился протест; покорно склонив голову, нес он надетое на него ярмо. Его оторвали от семьи—значит, это было нужно; его заставили голодать, совершать труднейшие переходы, да, но этого требовали начальники; его оскорбляли победители, его унижали, да, но таковы были законы войны. Наконец, его ранили, спутник бросил его на произвол судьбы, но такова была божья воля, а спутник его, образованный человек и офицер, знал лучше,

чем он, Дезире, что надо было делать в подобных случаях.

Теперь, в этом ужасном Париже, в котором, как в котле, кипели человеческие страсти, где решались величайшие вопросы существования целой страны, где громко поднимал свой голос пролетариат, где надо было так или иначе решить, на чью переходить сторону,—Дезире чувствовал себя угнетенным. Ах, если бы вернуться в родную деревню, к мирным лугам и полям, к тихим вечерам, когда так сладко слушать беседы стариков о добром старом времени, о сказочном императоре—друге крестьян, о походах, о славе; вернуться к тихому благовесту родной колокольни, к воскресной службе в церкви, когда так сладко дремалось под раскаты голоса румяного кюре, которому старуха-мать внимала, одобрительно покачивая головой!..

Оливье прервал эти мечты.

— Ты проснулся,—сказал он, входя в комнату,— а я уже хотел будить тебя. В Париже тебе не придется много спать: мы все живем здесь, как в лихорадке, и ты поймешь, почему иная жизнь сейчас и невозможна.

На столе дымились две кружки кипятку и лежали два куска серого черствого хлеба.

— Это весь наш завтрак,—сказал Оливье, усмехаясь.—Париж голодает, не буржуазия, конечно, у которой хватает денег на всякие прихоти, но честный рабочий Париж. Умывайся скорей и садись к столу.

Маленькая комнатка Оливье в этот холодный осенний день дышала сыростью; отверстие печки с оторванной заслонкой зияло черной дырой, давно не знавшей радости веселого огонька. Но из окна мансарды открывался роскошный вид Елисейских полей, заканчивающихся Триумфальной аркой. Осеннее холодное солнце золотило высокие каштаны. Цветники, аллеи и фонтаны Тюльери тонули в золотистой дымке, в которой двигались толпы людей. Но кто составлял эту толпу? Не те праздные, богатые, сытые люди, которые раньше беззаботно ходили по улицам бессмертного города. Нет, это проходила артиллерия, батальоны пехотинцев, отряды кавалерии. Этот мирный пейзаж был весь пропитан войной. В саду, рядом с белыми статуями, чернели зарядные ящики. Артиллерийский парк занял все аллеи. Там, где раньше резвились дети, тяжелым шагом проходили часовые.

Дезире и Оливье сели за стол.

— Если мы раньше постились во имя какого-то святого, помеченного в календаре,—сказал с улыбкой Оливье,—почему бы нам теперь не попоститься во имя свободы. Грустно только, что нельзя быть уверенным, что мы постимся именно ради нее. Однако, расскажи мне, что ты теперь намерен делать?

— Признаюсь тебе,—сказал Дезире, краснея,—что у меня было желание пробраться к себе на родину, чтобы обнять свою старуху, но я устыдился этого чувства. Теперь не время, сказал я себе, надо сначала

прогнать врага, а затем уже думать о себе. Я думаю, что здесь я смогу поступить в один из полков защищающих Париж.

Оливье протянул ему руку через стол.

— Ты прав, дружище,—сказал он,—сейчас это наше первое и самое важное дело; пока нам угрожает враг, не приходится думать о своих личных делах. Если бы только быть уверенным, что и правительство думает так же! К сожалению, все больше и больше приходится убеждаться в том, что не пруссаков они боятся, а нас, рабочих. Если бы дело шло о том, чтобы задушить нас, они, пожалуй, вступили бы в переговоры с самим Бисмарком.

— Как можете вы так говорить о людях, которых выбирал сам народ?—воскликнул Дезире.

— Народ? Я видел его, этот народ, я видел, как происходили выборы! Я сам был в зале Альказар. Ах, эта зала, я, кажется, никогда не забуду ее! Большая холодная комната, освещенная верхним светом и полная табачного дыма. В глубине на трибуне оратор, восхваляющий правительство национальной обороны, и которому рукоплещут. Собрание реакционеров и мракобесов! В этой толпе никто не высказывается. У всех задняя мысль, скрытый страх перед Интернационалом. Они защищают правительство так же горячо, как защищали империю несколько месяцев назад; они цепляются за Городскую Думу так же, как цеплялись раньше за замок Тюльери. Они и сейчас готовы задушить свободу во имя порядка,

Дезире растерянно посмотрел на своего собеседника.

— Но разве нам не нужен порядок,—робко сказал он,—если никто не будет охранять собственности, что же будет с нами в деревне? Я уверен, что все крестьянство ежедневно молится о прекращении войны и установлении порядка.

Оливье махнул рукой с досадой.

— Если ты, приятель, хочешь порядка, то скорее всех могут дать его пруссаки. А так как нашим генералам хочется того же, то я не удивлюсь, если узнаю, что негодяй Тьер завел переговоры о мире.

— Так, значит, мы напрасно мучились под Седаном?—сказал с горечью Дезире.

— Нет, не напрасно, клянусь в том честью! Седан был началом революции, и кто знает, сколько еще лет продержалась бы империя, если бы война не была такой позорной. Не думай, что сердце мое не истекло кровью, когда весть о ваших страданиях дошла до нас. Помню, как я, услышав о поражении, побежал к афишам. Эти белые листы, расклеенные на стенах, испугали меня, как лик страдающей родины. Седан! Я почувствовал, как облако заволакивает мои глаза, тяжелые слезы текут по щекам. Долго, долго мне казалось, что я слышу отдаленный рев пушки среди грохота уличного движения. Но Седан переполнил чашу терпения, и проклятый Наполеон упал. Правда, это первый шаг, и пока еще мы очень далеки от истинной свободы...

— Какой же свободы вам еще нужно?—воскликнул Дезире.

Оливье обернулся.

— Ты добрый малый,—сказал он,—но в голове твоей так же темно, как вот в этой печке. Ты еще веришь во все хорошие слова, и тебе достаточно слышать слово „республика“, чтобы быть уверенным, что мы живем в свободной стране. Республика, свобода—все это прекрасно, а, однако, когда я после объявления этой самой республики пошел в Городскую Думу, меня оттолкнули прикладом ружья, и я услышал чей-то голос: „Этого человека не пускать, он не республики хочет, а революции“. Это у них называется свободой!

Оливье встал и отодвинул от себя чашку.

— В Париже глаза твои быстро откроются,—сказал он,—прощай пока; если ты не найдешь себе лучшего приюта, чем мое логово,—милости просим. Я всегда буду рад тебе.

Дезире горячо пожал руку своему хозяину. Чувство подозрительности и недоверия к Оливье смешивалось в нем с чувством горячей симпатии, хотя он и знал, что название „бунтаря“ и нарушителя порядка как нельзя лучше подходило к Оливье.

— Все это разъяснит мне лейтенант,—решил он про себя. Однако, какое-то неясное чувство не позволило ему признаться Оливье в том, что он отправляется на розыски своего обожаемого героя.

ГЛАВА VII

Пауки и мухи

Когда Дезире подходил к небольшому особняку в предместье Сен-Жермен, где он рассчитывал найти лейтенанта, сердце его билось от ожидания и беспокойства.

— Жив ли лейтенант, как сумел он дойти до бельгийской границы?

Он поднялся по небольшой лестнице и протянул руку к звонку. На двери была прибита дощечка: „Лейтенант Этьен д'Ожэ“. Из-за двери глухо доносились музыка и шум голосов. Дезире робко позвонил. Почти мгновенно перед ним распахнулась дверь и пахнуло теплом натопленной комнаты. В светлой передней жарким пламенем горел в камине огонь. Молодая горничная, в чепце и крахмальном переднике, с недоумением смотрела на страшного оборванца, осмелившегося позвонить у дверей ее хозяина.

— Я хотел бы видеть господина лейтенанта,—пробормотал Дезире, готовый провалиться сквозь землю под уничтожающим взглядом горничной.

Девушка пожала плечами.

— Не знаю, право, примет ли он вас,—сказала она, скорчив гримасу,—у лейтенанта гости, да к тому же...

И глаза ее скользнули по лохмотьям Дезире.

Но в это время лейтенант собственной особой появился на пороге комнаты. Он мало изменился лицом, но костюм его отличался изяществом. Гладко выбритые щеки подчеркивали сухость и определенность его черт.

— А; Дево, — сказал он с таким спокойствием, точно он только накануне расстался с молодым человеком и точно между ними не легло трех месяцев потрясающих событий, — ты хорошо сделал, что зашел ко мне.

И не протягивая Дезире руки, он указал ему на стул около камина.

— У меня сейчас гости, но это не помешает мне уделить тебе минут десять. Подожди меня.

И с этими словами лейтенант снова исчез за дверью. Дезире присел у камина. Непривычное тепло охватило его истомой. Он никогда раньше не бывал в такой атмосфере роскоши, чистоты, довольства, и глаза его с жадностью оглядывали большое зеркало в стене, высокие резные стулья, лепную бронзу на камине. Он сразу забыл о том, что позади этих стен царил холод, голод и мрак. Эта натопленная прекрасная передняя, из которой вели двери в какие-то другие таинственные, вероятно, еще более роскошные комнаты, казалась ему единственной, достойной лейтенанта, обстановкой. Молодая горничная, прислонившись спиной к стене, наблюдала за странным по-

сетителем. Но из соседней комнаты раздался голос лейтенанта:

— Берта, ведите его сюда.

За столом, обильно заставленным блюдами и бутылками разного вида, сидел лейтенант со своими гостями. Их было трое. Двое молодых людей в штатском платье и молодая красивая женщина с прекрасными синими глазами, которые ласково смотрели из-под полей ее большой бархатной шляпы.

— Вот, Люсьена, — сказал лейтенант, обращаясь к ней, — тот самый Дезире Дево, с которым нам пришлось вместе рыскать по полям и лесам. Скажи-ка мне, добрейший, зажила ли твоя рана?

— Я совершенно здоров, лейтенант, — сказал Дезире, по военному вытягиваясь во фронт.

— Рад за тебя; не хвастаясь скажу, что, если бы я не оттащил тебя тогда от пруссаков, — твоя песенка была бы спета. Они были от нас в двух шагах.

Дезире улыбнулся.

— Так точно, — сказал он, не осмеливаясь излить свою благодарность в словах.

Та, которую д'Ожэ назвал Люсьеной, прищурившись смотрела на него.

— Как приятно, — сказала она, — видеть солдата, не затронутого этим пагубным революционным настроением. Неправда ли, — продолжала она, обращаясь к Дезире, — вы также, как и мы, верите нашему

правительству и готовы на все жертвы, лишь бы прогнать врага из-под Парижа?

Дезире повторил свое однообразное «Так точно».

— Лишения ничто в сравнении с сознанием исполненного долга,—и с этими словами прелестная Люсьена положила себе в рот шоколадную конфету.

При взгляде на вкусные вещи, которыми был заставлен стол, Дезире чувствовал, что желудок его болезненно сжимался, но Люсьена, рассуждающая о лишениях с конфетой во рту, не показалась ему смешной. Критиковать, осуждать — Дезире еще не научился.

— А что ты теперь намерен делать, Дево?—спросил его лейтенант, которому, повидимому, не приходила в голову мысль о том, что Дезире может быть голоден.

— Мне хотелось бы защищать Париж,—сказал Дезире, краснея.

Д'Ожэ положил ему руку на плечо, и на лице его появилась улыбка, которая странно не вязалась с жестокостью его черт.

— Рад это слышать,—сказал он,—впрочем, я никогда не сомневался в твоей храбрости. Я могу устроить тебя служить в своем батальоне, но только предупреждаю: никаких сношений с бунтарями, никакой дружбы с рабочими; могу похвастаться, что у себя я выкурил весь этот дух, и зато, наверное, во всем Париже не сыскать более бравых молодцов, чем мои,

Лейтенант так увлекся своей похвалой, что не заметил смущения, которое изобразилось при его словах на лице Дезире. Люсьена же нежно протянула руку лейтенанту.

— Если бы Франция имела побольше таких сынов, как вы, Этьен, свобода, собственность и порядок были бы в полной безопасности.

— И нам бы не пришлось выслушивать упреков от наших спятивших с ума революционеров в том, что мы и во время осады умеем жить, как люди, а не как свиньи,—вмешался в разговор один из гостей.

— Нам бы не пришлось слышать болтовню о каком-то равномерном распределении,—прибавил другой.— Как будто есть на свете цивилизованное государство, где деньги были бы бессильны бороться с бедствиями войны.

— Революционеры забывают о том,—сказал д'Ожэ, нежно целуя руку Люсьен,—что лишения слишком тяжелы для прекрасных, хрупких женщин; пусть лишения терпят те, кто закален против них, привык к ним, но не феи, созданные для роскоши и счастья.

Дезире понял, что лейтенант и гости его совершенно забыли о нем, и решил напомнить о себе легким покашливанием. Лейтенант поднял на него глаза.

— Ты явишься ко мне завтра в казармы принца Евгения и будешь немедленно принят на службу; хорошие солдаты нужны родине.

На другой день Дезире, поблагодарив Оливье за гостеприимство, перебрался в казармы принца Евгения. Как ни полюбился ему Оливье, но все же он вздохнул свободно, когда очутился в сделавшейся ему привычкой военной обстановке. Батальон, которым командовал д'Ожэ, почти весь был набран из крестьян, наиболее яростных сторонников Тьера и врагов революции. Им казалось, что война затягивается только благодаря волнениям в Париже; требование войны до конца, войны беспощадной и непримиримой—было им непонятно. Мир, мир во что бы то ни стало, возвращение к своим домам—вот, что являлось их мечтой, и слух о том, что «уважаемый господин Тьер» хлопочет о скорейшем заключении мира наполнял их сердца восторгом. Здесь, где все было подчинено порядку и дисциплине, Дезире обрел, наконец, потерянное спокойствие: «Прогнать пруссаков из-под Парижа, заключить мир и вернуться домой». Чего мог он еще желать? Свобода? справедливость? власть народа?—Все это лишь пустые и вредные мечты.

Если бы не воспоминание о Мари, неудержимо влекущей его к себе, Дезире, вероятно, никогда бы больше не встретился с Оливье, но как ни боролся он со своим чувством к ней, образ ее неизгладимо жил в его воспоминании. Не прошло и недели, после его переезда в казармы, как девушка сама пришла к нему и вызвала его на улицу. В сумерках зимнего холод-

ного вечера она с тихим упреком говорила ему, что он забыл своих друзей.

— Мы с Оливье часто говорим о вас,—сказала она,—но вы, верно, нашли себе новых друзей среди своих товарищей.

Ее личико за последнее время еще больше похудело, а в глазах, обычно таких веселых, блестели слезы. Дезире был глубоко тронут.

— Я приду к вам,—сказал он, сжимая ее холодную руку в своих руках,—нет, я не забыл вас; мысль о вас не покидает меня.

— Смотрите же,—сказала она, улыбнувшись сквозь слезы,—не обманите меня, мы с Оливье будем вас ждать.

И кутаясь в свою легкую накидку, она удалилась в серые городские сумерки.

ГЛАВА VIII

На пути к неизбежному

Париж под снежной пеленой, как в болезненном кошмаре, день за днем изживал ужасы осады. Патриотический порыв пролетариата, стремление к свободе, готовность на жертвы,—все разбивалось о преступную продажность «людей 4-го сентября». Тьер, маленький,

лукавый Тьер, мнящий себя великим человеком, выжил момент, когда в последних судорогах измученная Франция упадет ему в руки, как спелый плод. Надежды, отчаяние, вера в победу, ненависть к правительству чередовались в сердцах несчастных парижан. Огромная армия, обреченная на бездействие или расстреливаемая во время бессмысленных вылазок, изнывала вокруг Парижа и в самом городе. Национальная гвардия, та национальная гвардия, которая стояла на страже свободы и являлась самым страшным врагом правительства, сознательно держалась в бездействии. Ее живая сила, пламя вдохновения, полная готовность к жертвам — все пропадало даром. Генералы боялись ее, заигрывали с ней и старались ослепить ее сознательное отношение к происходящему бесцельным пребыванием на укреплениях Парижа, где они, изнемогая от тоски, познавали до дна позорную слабость правительства.

Наконец, 29-го ноября произошло давно подготовляемое высокопарными воззваниями Дюкро и Трошю знаменитое сражение на Марне. Наконец, решились сломать железное кольцо, те узы, в которых задыхался Париж, решили двинуться навстречу Луарской армии, навстречу Франции, которая, как говорили генералы, всеми своими молодыми побегами стремилась на помощь к столице. Каждый уже заранее записал 29 ноября в своей памяти, как день великого поворота истории; лучшие пожелания неслись вслед за тем генера-

лом, который клялся вернуться победителем или мертвым. Там, ближе к заставам, на всех лицах выразилось волнение, каждый с любопытством и ужасом прислушивался к глухому звуку пушек, который доносился со стороны Шуази, где армия Винуа производила диверсию. Нетерпение Парижа расло, страх и надежда сжимали все сердца.

В этот день батальон д'Ожэ находился на аванпостах. Не бывший в сражении после Седана Дезире не спал ночь, лихорадочно прислушиваясь к растущему гулу лагеря. Того страха, который он испытал в первые дни войны, уже не было в нем; он уже научился владеть собой, не отдаваясь во власть нарастающего ужаса, но холодный мрак, черная пелена закрывали перед ним наступающий день, и сердце его, сжатое в комок, неровно билось в груди.

Наконец, рассвело, и спокойный день осветил склоны холмов извилистой Марны и еще спящие пространства, усеянные лесами и деревьями. Затвердевшая от мороза почва белела вдаль, четко вырисовывались обнаженные деревья, и яркое солнце освещало безоблачное небо.

Вдруг загудели форты, подавая сигнал. С плоскогорий Авроны, Роти и Сен-Мора поднялся фонтан ядер, направленных на молчаливые вражеские укрепления. Звонкие дороги загудели под тяжелым топотом лошадей, под колесами пушек и повозок, и начался бой.

Армия в сто тысяч человек, собранная из рекрутов и мобилизованных, неопытная, но готовая на жертвы, армия, во главе которой не было ни одного способного, или хотя бы честного начальника, вошла в сферу огня. И также, как при Седане, несогласованность действий, запоздалость приказаний, преступная небрежность с первых же минут боя решили его участь. Батальоны, однако, шли некоторое время вперед, и на лицах, горящих от холода, в глазах, истомленных голодом, решимость и мужество долго не уступали место страху. Но по всей линии торжествующая прусская армия осыпает их ядрами, и черные от дыма, в тумане и снегу ложатся сотнями тела безвестных героев. На расстоянии 17 миль лег целый корпус в две тысячи человек, а немецкая артиллерия не переставала бороздить поле снарядами. До ночи не удалось даже установить обычного перемирия, чтобы похоронить мертвых. Генералам казалось, что они исполняют свой долг, если не берегут жизни солдат; сражение на Марне было только уступкой общественному мнению, заранее обреченной на неуспех. Храбрость у солдат заменяла тактику, и в то время, как героическая армия шаг за шагом боролась за каждую пядь земли, Трошю, среди своего штаба, в кепи с золотыми галунами, с тусклым и скучающим выражением лица отвечал на донесения:

— Наступать дальше нельзя: произошло недоразумение, главное сражение откладывается на завтра.

Темная ночь накинула свой покров на немного продвинувшиеся вперед французские аванпосты. Без огня, без хлеба, без прикрытия протекали мучительные ночные часы. В высших сферах были так уверены в неудаче, что не позаботились о подготовке лагеря.

Мобилизованные и регулярные, до последней степени жалкие валялись на земле или стадами бродили в своих лохмотьях под начавшейся вьюгой. Термометр опустился до 10°. При проезде генералов некоторые из солдат кричали «Да здравствует мир», на что ответом было молчание.

Усталый, дрожащий, с пустым желудком, отяжелевший от бессонницы Дезире провел эту ночь, как в бреду. Он изнемог; во время переключки так часто слышно было мрачное молчание! Сколько товарищей его выбыло из строя! Не за ним ли очередь? Мог ли он еще когда-нибудь поднять в себе патриотизм и мужество для нового боя? Нет, он чувствовал, что может быть только рабом, влачащим с ненавистью надетое на него ярмо. И он возненавидел войну, находя успокоение только в одной страстной мечте. «Мир, мир во что бы то ни стало, какой бы то ни было ценой».

И лишь после того, как армия окончательно обессилила и, таким образом, всякие операции сделались невозможными, Трошю дал приказ отступать.

Бедная маленькая Мари пережила с остротой мучительные часы во время сражения на Марне; среди

других на кладбище Père Lachaise она повисла на решетках и высоких памятниках, откуда можно было что-нибудь видеть, вглядываясь в дым, который покрывал собой новое, только что выросшее кладбище солдат. Два дня она жила в горячем возбуждении среди шума невидимой, но близкой битвы; в толпе передавались слухи то поднимающие, то убивающие надежду; но к вечеру началось непрерывное движение полевых лазаретов, а вдоль Сены маленькие лодки влекли непрерывно печальную ношу.

Тысячами окровавленные, безжизненные возвращались в Париж раненые, вышедшие оттуда веселыми, полными энергии и сил. И Мари, вглядываясь в бледные, обескровленные лица, думала только о Дезире. Только тогда, когда смертельная опасность нависла над ним, она с ясностью сказала себе: «Я люблю его!»

Через три дня Оливье, возвращающийся с дежурства с укреплений, зашел к Мари и с порога комнаты крикнул ей: «Дево жив, я видел его сейчас на левом берегу».

Девушка хотела что-то сказать, но силы изменили ей, и она с рыданием спрятала голову на плече своего большого друга.

И дальше потянулись тяжкие дни осады. Зима была необыкновенно суровая; по тротуарам, у дверей, под дождем и ветром, в неясном свете раннего утра покорно стояли хвосты очередей около мясных, ожи-

дая открытия лавок; ежедневно среди ожидающих попадались дети с отмороженными руками и ногами. В нетопленных мансардах доедались последние крохи хлеба, последняя жалкая полусгнившая картошка. А, между тем, рестораны все еще торговали, и из кухонь частных богатых домов доносился заманчивый запах жареной рыбы и мяса. Казалось невероятным, что правительство, расклеивающее на каждом перекрестке красноречивые афиши о своей преданности народу, не догадалось до сих пор распределить равномерно между населением те небольшие запасы, которые оставались в городе. В иных домах, где особенно велика была бедность, давно уже были съедены кошки и собаки, началась охота на мышей и крыс. Смертность была ужасающая; похоронные колесницы в одну лошадь непрерывно следовали одна за другой. Не было ни угля, ни дров, чтобы бороться с холодом. Беднейшее население питалось вонючим мясом и отвратительным хлебом, чтобы поддерживать свое существование. По вечерам тонушая во мраке столица казалась мертвой. В холоде и темноте ожидала злоба за потерянный день, за протекшее без пользы время. Уменьшался запас сил, ослабевали средства к борьбе. Невидимый круг суживался, давил грудь и сердце, и росла ненависть к этим людям, выплывшим на поверхность истории в день 4-го сентября, людям, в которых так поверили сначала и которые уничтожили эту веру бесплодной болтовней и бездей-

ствиием. Еще одна бесплодная вылазка в начале декабря, и мрачное отчаяние, полная безнадежность легли могильной плитой на несчастный Париж.

Наконец, 27-го декабря, вслед за небывалыми холодами, пошел снег. Его частые хлопья наполнили воздух и покрыли белым ковром молчаливый город. Вместе с тем раздался глухой шум, приближающийся гром. Шум этот возник с рассветом и увеличился вместе с ним. В этом звуке была удручающая непрерывность и сила. Население с тревогой прислушивалось к нему. Толпы собирались около мэрий.

Вскоре весть, которую еще недавно считали невозможной, стала переходить из уст в уста. Враг разбивал форты. Началась бомбардировка. Со стороны Версаля, в зареве плыли пурпуровые облака. И гремя на горизонте, крупновские пушки приветствовали своим хором императора Вильгельма и апофеоз милитаризма.

За несколько дней до нового года Дезире, батальон которого участвовал в последней вылазке против пруссаков, отпросился в отпуск у лейтенанта д'Ожэ. За последнее время он виделся очень редко с Мари, но, несмотря на это, симпатия обоих молодых людей обратилась в глубокое чувство. Если Дезире находил в себе еще силу бороться с влиянием Оливье, черпая свои возражения из уроков лейтенанта, то бороться с обаянием Мари он был не в силах, и потому являлся поневоле частым участником революционных бесед в мансарде Оливье.

— Смотри, — сказал д'Ожэ, подписывая ему отпускной билет, — ты что-то часто стал уходить в город. Не завел ли ты дурных знакомств? Помни, что общество рабочих не годится для хорошего солдата.

Дезире ничего не ответил и молча вышел на улицу.

В снежном тумане огромный Париж был тих, как мертвец; закрытые лавки, заколоченные ставни, пустынные улицы наводили мрачную тоску. Огромная афиша, наклеенная на стене одного из домов, высокопарно гласила о готовности правительства умереть за свободу. Несколько человек национальных гвардейцев стояли, посмеиваясь, у афиши. Когда Дезире, в группе своих товарищей, сравнялся с ними, они их окликнули.

— Эй, регулярная, полюбуйте на воззвание своего... правительства.

— Я знаю план Трошю.

— План, план, план... — запел один из них.

В группе национальных гвардейцев раздались свистки и улюлюканье. Солдаты отвечали, бросая гвардейцам презрительные прозвища.

— Эй, нечистая кровь, подонки, тридцать су... мы сделали свое дело, очередь за вами.

Независть горела во всех взорах. Один из солдат обернулся и сделал бесстыдный жест, встреченный громкими криками. Сердце Дезире болезненно сжалось, он ускорил шаги; позади чей-то голос во всю глотку завопил марсельезу.

На каждом шагу Дезире встречал картины бедствий и разрушений: то это были голодные дети, дрожащие в очередях, то фургон, везущий раненых с укреплений, то дом с оторванной снарядом крышей, обгоревшим крыльцом и черными зияющими оконными отверстиями. Содрогаясь, проходил Дезире мимо госпиталей и лазаретов, которые можно было встретить на каждом перекрестке. Одинокие прохожие, как тени, исчезали в снежном тумане.

— Сейчас рождество,— подумал Дезире,— в деревне мать обычно в этот день пекла блины и оладьи. Соседки и соседи собирались, чтобы провести вечер у очага. Проклятая, проклятая война!

Но Дезире забыл все на свете, когда на его стук в дверь комнаты Оливье он услышал знакомый голосок:

— Войдите!

Она была все еще бодра и весела, эта неутомимая Мари, она все еще находила в себе силы петь песни, шутить и смеяться, когда ненависть, война, страх голодной смерти, истощение раздирали сердца парижан. Никогда еще ее бледное личико, огонь ее прекрасных глаз не казались Дезире такими дорогими. Она стояла среди комнаты и чистила ружье.

— Это вы, Дезире?— сказала она, не отрываясь от своей работы, хотя лицо ее внезапно озарилось радостной улыбкой.— А я, как видите, за работой. Оливье поручил мне свое ружье, оно такое старое, что я

боюсь к нему прикоснуться; другого, к сожалению, нет, и вот мне приходится работать, как верному оруженосцу.

Дезире засмеялся.

— Как Оливье был бы рад, если бы вместо ружья вы начистили бы ему хорошую порцию картошки.

— Кроме ружья, в этой комнате чистить нечего,— сказала девушка, окидывая взглядом голые стены и железную кровать.— Я боюсь, что Оливье не выдержит такого голода. Те несчастные тридцать су, которые он зарабатывает, идут, конечно, на то, чтобы накормить и поддержать более слабых. Я чуть не дерусь с ним, когда он заставляет меня есть купленный им хлеб.

— Я боюсь, что вам живется не лучше, чем Оливье,— сказал Дезире внезапно дрогнувшим голосом;— вы так похудели, Мари, ваши глаза горят лихорадкой.

При виде глубокой нежности на лице Дезире, при его словах, полных тревоги и сочувствия, две слезы навернулись на глаза Мари.

— Не надо думать о себе,— сказала она, стараясь подавить свое волнение.

— Нет, Мари, нет,— воскликнул Дезире, страстно сжимая ее руки,— если вы сами не хотите думать о себе, то вы не можете запретить человеку, который любит вас больше всего на свете, жалеть вас, думать о вас, помогать вам.

— Дезире,—тихо сказала Мари.

— Да, да, я люблю вас и вы давно это знаете... Но мог ли я, жалкий невежда, деревенский необразованный парень, осмелиться признаться в этом вам, такой красивой, умной...

Мари положила руки на плечи Дезире, и глаза ее с нежностью глядели на него.

— Я давно полюбила вас, с того самого дня, как мы впервые встретились в трактире «Золотого Льва»... Я полюбила вас за простоту и искренность...

— А Оливье?—прошептал непомнящий себя от счастья Дезире.

— Оливье—мой друг. Я предана ему, благоговею перед ним, верю каждому его слову, но никогда ни слова о любви не было сказано между нами. Оливье не может любить женщину; его душа полна великими идеями, и в ней нет места для любви... Вам, Дезире, вам одному принадлежат все мои мысли.

— Мари, Мари...

Долго длилось их страстное, немое об'ятие.

— Дезире,—сказала Мари, внезапно отрываясь от него, как будто яркая новая мысль ослепила ее,—Дезире, теперь ты навсегда, неправда ли, навсегда будешь с нами?

— Можешь ли ты спрашивать, Мари?

— Ты не будешь больше спорить с Оливье, ты пойдешь за ним вместе со мной, как за вождем, куда бы он ни повел нас?

— Не знаю, Мари,—тихо сказал он,—я боюсь так слепо доверяться ему, как ты. Оливье прекрасный человек, но я боюсь, что он может скорей привести нас к гибели, чем к счастью и долгой жизни.

— А разве умереть за свободу не есть величайшее счастье?—воскликнула Мари, блеснув глазами.—Быть любимой тобой и умереть вместе—лучшей участи я бы не желала!

Сердце Дезире болезненно сжалось.

— Мари, бедная моя Мари,—сказал он,—как глубока твоя усталость! Тебя, такую молодую, уже путает мысль о смерти.

Натянутые нервы Мари не выдержали ласки этих слов; она склонила голову на плечо Дезире и разрыдалась, как ребенок. Дезире усадил ее рядом с собой, нежно утешая, и, когда она вновь потребовала от него обещания следовать во всем Оливье, он не только не противоречил ей, но, напротив, был готов клясться в чем угодно.

Оливье, войдя в комнату, прервал их беседу.

— Воробей мой плачет,—сказал он, увидав покрасневшие глаза Мари, которые она осушала, улыбаясь и смеясь над собой.—Но я вижу, что это не горькие слезы, неправда ли? Я давно ожидал, что вы договоритесь, хотя, по правде сказать, вы выбрали неудобное время, дети мои.

— Мы подождем,—сказал Дезире, который никогда не чувствовал в себе столько бодрости и веры

в будущее, как в этот миг.—Надо только крепко держаться друг за друга, и тогда нам ничего не страшно.

— Умные речи,—ласково сказал Оливье,—я вижу, что маленькая Мари быстро поставит тебя на истинный путь. Надо только проявлять упорство, и тогда мы победим. Дети мои,—продолжал он,—время вашего обручения—тяжелое время. От нас хотят отнять все то, что мы вырвали с таким трудом от империи; нас хотят отстранить, зажать нам рот, но клянусь тебе, Дезире, что мы любим свободу и жизнь так же горячо, как ты любишь свою Мари; и если нам не удалось 31 октября, если нас ждет еще целый ряд неудач, то все же, в конце концов, если мы будем крепко держаться друг за друга, мы сломим врага,—и наше знамя, знамя освобожденного труда, будет развеваться над городами всего мира. Дети мои, пусть день вашего обручения будет для нас веселым днем! Холод, голод, лишения и нужда,—пусть будут бесильны над нашей верой в будущее и нашей радостью!

ГЛАВА IX

На скользком пути

Дезире, опьяненный счастьем своей любви к Мари, действительно как бы забыл на время о всех своих сомнениях и тревогах. Он любил Мари, он должен был

быть с ней всюду и мыслью и чувством, как самый близкий ей человек. Он продолжал жить в казармах принца Евгения, исполнял свои обязанности; несколько раз участвовал в вылазках против пруссаков, но все мысли его были направлены только туда, где ждала его Мари. Все казалось ему ничтожно по сравнению с его любовью. Чтобы быть поближе к Мари, он часто уходил в город и даже завел себе подобие квартиры, пользуясь пустующей комнатой одного из своих товарищей. Очень скоро эта комната сделалась одним из штабов революционных рабочих, благодаря Оливье, который приходил туда со своими друзьями. Дезире без сопротивления давал себя уносить этой волне, хотя его врожденная любовь к порядку и собственности заставляла его иногда содрогаться перед смелостью суждений тех, кто по воле случая стали его друзьями.

Со своей стороны друзья Оливье, почти все рабочие, поступившие во время осады в национальную гвардию, сначала смотрели на Дезире недружелюбно.

— Он служит в регулярной армии,—думали они, в армии, которая служит оплотом правительству Тьера. К тому же он—крестьянин собственник, по всему складу жизни враг революции.

Особенно недружелюбно относился к нему Горбун, пламенный революционер, отметавший решительным жестом все стоящее на пути к победе пролетариата.

— Не понимаю, что нашел ты в этом мальчишке?—не раз говорил он Оливье,—поверь мне, что у него

равнодушная, косная натура, которая сильна только своим упрямством, а его деревенских идеалов из него не выкуришь никакими революционными речами.

Но добродушие Дезире, его молчаливая робость вскоре успокоили его новых друзей. Правда, он часто выслушивал насмешки по адресу армии, верной правительству, но он уже не принимал их на свой счет. Ни разу не задал он себе прямо вопроса о том, достоин ли он оказываемого ему доверия; он даже и теперь не знал окончательно, за кем он пойдет в решительную минуту: за правительством ли обороны или за его врагами. Его ум, привыкший дремать в пассивной покорности, пугался разрешения таких трудных задач.

А между тем, все острее и острее делалась борьба между национальной гвардией, рабочими и правительством Тьера, раболепно хранящим интересы буржуазии. Испуганное революционной борьбой, оно уже давно видело своих врагов не в пруссаках, стоящих под стенами Парижа, а в рабочих и в национальной гвардии.

Дезире видел, как на его глазах выковывался в сердцах рабочих революционный энтузиазм, воля к борьбе, страстная ненависть. Речи Оливье жгли его, как огонь; Горбун поражал его блистательной логикой своего холодного ума; Мари, страстно любимая им, Мари забывала о своей любви к нему, когда с огоньком в глазах восклицала:

— Мир? Разве у нас не осталось ни корки хлеба и ни одной лошадиной туши? Нас предают, там, наверху. Прокламации Винуа звучат, как похоронный звон. Генералам, кажется, больше хочется воевать с парижанами, чем с пруссаками. Они нас боятся—значит, они знают нашу силу!

Горбун добавлял.

— Пули, которые готовились врагу, будут посланы нам, рабочим, если мы только посмеем поднять голос против мира. Нам позволили подыхать с голоду и холоду только для того, чтобы капитулировать. Ах, почему мы не прогнали их 31 октября?

Однако, переговоры о мире велись к концу. Правительственные газеты готовили население к предстоящему позору, стараясь смягчить горечь поражения и снять ответственность с плеч ненавистного правительства.

— Надежды на помощь нет, все запасы истощились... Необходимо заключить перемирие до созыва Собрания. Парижу не придется перенести унижения оккупации. Только укрепления будут заняты, и т. п.

Наконец, свершилось! Форты замолкли, бомбардировка кончилась. В внезапно наступившей тишине поднимался шум города, заглушенный бой барабана. Набат! Усталая толпа бродила по пустым улицам. По бульварам пушки и телеги со снарядами катились, как бы напоминая о полных еще арсеналах. Нацио-

нальная гвардия продолжала упрямо надеяться на вылазку. Черное небо исходило снегом на скользкую мостовую, на грязные тротуары, на темную Сену. Вдалеке дома, зажженные снарядами, горели, как фейерверк, отбрасывая кровавый отблеск.

Через все ворота, под мелким снегом, в течение многих часов, армия текла. Вдоль улиц, по которым шли войска, стоял молчаливый народ шпалерами; кавалеристы, одуревшие от бездействия, ехали обезоруженными, регулярные войска—с ружьями на плече, мобилизованные, партизаны шли вперемежку. Некоторые, усталые и грязные, казались веселыми, другие шли с убитым видом. Бесконечная грусть предшествовала этому стаду; которое при других начальниках могло быть брошено вперед и могло разорвать непреступное кольцо.

Улицы были шумны, на всех перекрестках стояли жестикулирующие группы.

Проклинали Трошю, Ферри, реакционера Пикара, Фавра, Арагона—болтунов без совести и чести. Многие жалели, что не поддержали Коммуну с большей энергией. Другие продолжали требовать вылазки начальника, чтобы сражаться. Рассказывали, что моряки отказались сдать укрепления. Брожение было полное.

Мари не нашла в себе сил быть свидетельницей происходящего; целый день провела она в своей камерке в глубокой тоске. Оливье, со сжатыми губами

и сдвинутыми бровями, то выходил на улицу, то снова возвращался, храня тяжелое молчание.

Под вечер Дезире зашел к своей подруге. Он чувствовал, что, помимо его сознательной воли, вопреки всем доводам рассудка, волна неудержимой радости, чувство глубокого облегчения охватывали его.

— Как, быть свободным? Вернуться домой вместе с дорогой для него девушкой к тихой работе и мирной жизни?

Как мог он противостоять этой радости? Позор Франции, экономический гнет, который наложит на страну рука победителя,—об этом он не думал; это было делом умных и образованных людей, которые сумеют справиться с этими вопросами. А ему, маленькому человеку, надо было только честно и скромно прожить, не задаваясь более широкими задачами.

И когда Оливье вышел из комнаты, молодой человек взглянул на Мари с робкой улыбкой.

— Теперь,—сказал он,—нам остается только уехать к себе на родину и постараться там, в работе, забыть о наших страданиях.

Мари вскинула на него глаза с печальным недоумением.

— Можешь ли ты думать об этом теперь, когда борьба только начинается? Разве ты не понимаешь, что правительство заключило мир с пруссаками только для того, чтобы развязать себе руки и расправиться с нами?

— В конце концов,—вокликнул Дезире,—когда же наступит день нашего освобождения, когда же мы сможем забыть обо всех этих республиках и свободах и жить для себя, честно и просто, как жили наши отцы, не завидуя богатым, довольные тем немногим, что у нас есть?

Дезире сам не ожидал, что у него вырвутся такие слова, а лицо Мари приняло страдальческое выражение.

— О, Дезире, можешь ли ты говорить так?—сказала она.

Но Дезире чувствовал, что раздражение увлекает его все дальше и дальше, и все то, что он старался подавить в себе под влиянием Мари и Оливье, вылилось наружу:

— Мне все это надоело, наконец. Мы все несчастные, измученные войной и голодом, мы жаждем мира; дома наши разрушаются, поля не обрабатываются, скотина чахнет. По всем деревням Франции стонут и плачут матери и жены, ожидающие возвращения хозяина. И, когда нам говорят, что заключен мир, мы все-таки недовольны, мы хотим еще бороться за какие-то свободы, которых мы все равно не получим, вместо того, чтобы честно работать на своем маленьком клочке земли, как верные сыны Франции.

— Ты не говорил этого вчера,—прошептала Мари.

— Да, я не говорил этого, потому что мир еще не был заключен, еще оставалась надежда прогнать

пруссаков, но раз Тьер заключил мир—значит, силы наши иссякли. Я до конца исполнил свой долг, и, когда мне скажут: ты нам больше не нужен, клянусь честью, я...

— Не говори этих слов,—воскликнула Мари,—если тебе дорога наша любовь, не говори, что ты не хочешь оставаться с нами.

— Жена должна идти за своим мужем, и, если ты любишь меня, ты не можешь оставаться здесь.

— Я не могу покинуть Оливье сейчас.

— Значит, Оливье тебе дороже, чем я; под видом идеи и революции ты, я вижу, просто скрываешь свою любовь к нему.

— Ты оскорбляешь меня, Дезире,—сказала Мари с упреком.

Но в этот миг Дезире был всецело во власти своего гнева.

— Пойдешь ли ты со мной или с Оливье? Ответь!—сказал он.

Мари сделала попытку примирения.

— Ревность ослепляет тебя, мой друг, и делает несправедливым; к тому же, ты еще не свободен.

— Да или нет? Нет нужды в том, когда это будет, но решение твое я должен знать теперь.

Лицо Мари вспыхнуло, и глаза ее заблестели не добрым светом.

— Я считала тебя мягким и добрым,—сказала она,—я считала тебя умным. Я надеялась, что ты

поймешь меня, Оливье и наши стремления. Я ошиблась в тебе. Ты жестокий и тупой человек, такие не нужны революции.

Они стояли друг против друга, эти двое, так недавно еще произносившие слова любви, и глаза их горели гневом.

— Прощай,—сказал Дезире.

— Прощай,—сказала Мари.

Еще мгновение и Дезире был уже за дверью.

Когда Оливье вернулся, Мари сидела на постели и горько плакала. Она ничего не сказала Оливье о своей ссоре; сердце ее разрывалось от обиды, но вместе с тем любовь,—она знала это,—не умерла в нем.

— Верно, поссорились,—подумал Оливье,—ну, да не беда, любовные ссоры длятся недолго.

Дезире вышел на улицу и некоторое время шел размахивая руками, бормоча несвязные слова, весь еще во власти охватившего его раздражения; но пройдя две-три улицы, он успокоился и на него нашло раздумье. Он поддался минуте раздражения, вспышке гнева и, быть может, благодаря этому навсегда потерял Мари. Эта мысль заставила его остановиться, как вкопанного. Ведь он любил ее, любил так, что жизнь без нее не имела смысла. Зачем заговорил он с ней так резко? Быть может, в конце концов, любовь к нему и утомление принудили бы ее порвать с Оливье и отказаться от всех этих

сумасшедших революционных идей. Он должен был ждать, постепенно занять в ее чувствах то место, которое до сих пор ему приходилось делить с Оливье. Дезире уже был готов повернуть обратно, чтобы сделать хотя бы попытку примирения, как внезапно на углу улицы столкнулся лицом к лицу с лейтенантом д'Ожэ. Он приветствовал его по-военному.

— Ты подвернулся мне очень кстати;—сказал лейтенант,—у меня есть к тебе дело. Пойдем за мной.

Дезире беспрекословно последовал за своим начальником. Повидимому, жизнь лейтенанта мало изменилась под влиянием длительной осады. Все так же пахло из кухни жареным мясом, все так же красовалась на буфете бутылка доброго вина и разряженная горничная шуршала крахмальным передником. Лейтенант ввел Дезире к себе в кабинет и запер за ним дверь.

— Мир подписан,—сказал он,—мир ужасный, позорный, но все же мир. По-моему, ты должен быть доволен.

— Так точно.

— Говори со мной не как с начальником. Я позвал тебя, чтобы дать тебе важное поручение, в котором ты увидишь мое доверие к тебе.

— Благодарю вас, лейтенант.

— Итак, мир заключен, и скоро вы все, измученные герои и защитники Франции, сможете отдохнуть и вернуться к родным деревням. Этого требует челове-

колюбие и справедливость. Хочется ли тебе вернуться домой?

— О да, лейтенант.

— И, однако, знаешь ли ты, что есть люди, если их только можно назвать людьми, которые сейчас стараются сеять смуту, вызвать бунт, новую войну и тем самым опять надолго задержать вас вдали от семьи. Знаешь ли ты, что есть мерзавцы, сеющие ложные слухи о каких-то предательствах, в целях сорвать мирные переговоры?

— Знаю,—чуть слышно сказал Дезире.

— Знай, что эти бунтари достойны виселицы, они губят родину, они затягивают петлю на шее французской армии. Честный солдат должен клеймить их презрением.

Дезире молчал.

— Я никогда не обманывал тебя,—сказал лейтенант и голос его смягчился,—мы были с тобой товарищами, связанными тесными узами, когда бежали из прусского плена. Я вынес тебя из-под огня противника на руках, я спас тебе жизнь и тем самым имею право требовать от тебя откровенности и доверия.

— О лейтенант,—воскликнул Дезире,—вы можете требовать от меня моей жизни, и тогда еще мой долг перед вами будет невыполнен.

Лейтенант усмехнулся.

— Столького я от тебя не потребую. Я хочу только, чтобы ты видел во мне друга, от которого ничего не

остается скрытым и к которому ты будешь приходить за разрешением всех сомнений.

Лейтенант протянул руку Дезире; рука молодого человека дрожала.

— Я знаю, Дево,—продолжал лейтенант,—что ты завел себе друзей среди социалистов, я давно замечал в тебе перемену, и мне это было больно; однако, я решил, что твоя голова, честного крестьянина и доброго француза, поможет тебе справиться со всеми этими идеями. Я был уверен, что революционный яд не проникнет в тебя слишком глубоко. Дезире Дево, тот Дезире Дево, с которым я делил ужасы плена и бегства, не может изменить присяге, говорил я себе. Надеюсь, что я не ошибся?

Дезире был потрясен.

— Вы не ошиблись, лейтенант,—сказал он.

— Хорошо,—продолжал лейтенант,—ты должен понять раз и навсегда, что правительство, законное правительство, выбранное самим народом, стремится к миру, порядку, законности, к восстановлению торговли и земледелия. Сердца всех истинных французов горят преданностью правительству, но главной опорой его является армия. На нее вся надежда. Она сумеет противопоставить здравый смысл и нравственное чувство пропаганде тех низких бунтарей, которые именуют себя социалистами. Когда армия полжит предел наглým выходкам этих разбойников, вы вернетесь в свои села и деревни, к своим домам и своим семьям. Ты понял меня?

Дезире кивнул головой.

— Революционные идеи не должны иметь места в казармах; тот, кому дорого счастье Франции, обязан беспощадно бороться с этим злом. Ничто не должно мешать нам исполнить свой долг.

Лейтенант замолк и взглянул на Дезире.

— Я жду, что с сегодняшнего дня ты порвешь всякую дружбу с социалистами, если ты еще не сделал этого.

— Я сделаю это,—сказал Дезире.

— Ты сможешь мне сохранить порядок в казармах?

— Помогу.

— Если ты услышишь или увидишь среди товарищей революционные настроения, если кто-нибудь явится в казармы с целью пропаганды, ты тотчас же донесешь мне об этом, чтобы мы вместе могли безболезненно пресечь зло в самом корне.

Дезире кивнул головой. Лейтенант вторично протянул ему руку.

— Я вижу, что ты честный человек, Дево, и настоящий сын Франции. Благодарю тебя. Ступай и не забудь своих обещаний.

ГЛАВА X

Ночь под 18-ое марта

Тусклые, тяжелые дни начались для Дезире; верный обещанию, данному лейтенанту, он не посещал Оливье и Мари, но глубокая тоска с'едала его. Париж кипел, как котел, но он сознательно избегал принимать участие в его жизни.

— Я буду идти прямой дорогой,—говорил он себе,— и до конца честно исполню свой долг.

Лейтенант часто беседовал с ним и заметно отличал от других. Несмотря на всю свою тоску о Мари, это внимание льстило ему и являлось некоторым утешением. Приближалась весна; быть может, скоро, скоро среди родных зеленеющих полей он найдет исцеление своим страданиям и своей несчастной любви.

Между тем, нарастающий гнев пролетариата, провозгласившего правительство Тьера, продажность буржуазии— все влекло Париж к революционной развязке. Подтасованное правительством монархически-крестьянское национальное собрание слало из Бордо проклятия возмущенному Парижу. Тьер, в роли спасителя отечества, задумывал план травли парижского

пролетариата, сыпля на его голову убийственные декреты. Каждую минуту можно было ожидать взрыва. Париж был подобен пороховому погребу, в котором искры достаточно для того, чтобы произошли разрушительные взрывы. Приближалось 18-ое марта. Тьер, как паук, сплел паутину, в которой он надеялся задушить ненавистную ему революцию.

В ночь на 18-ое марта в казармах принца Евгения сделалось известно, что солдаты должны быть готовы к походу.

Никто не знал, куда и зачем их поведут ночью, но чувство тревоги владело всеми. Был разрешен отдых часа в два; солдаты дремали на соломенных матрацах. Дезире тревожно ходил взад и вперед по тускло освещенным плитам каменного коридора. В полночь дежуривший капитан д'Ожэ должен был смениться. Он вошел в казарму, блестя изяществом своего мундира, с суровым и решительным выражением лица.

— Солдаты,—сказал он, обращаясь к своей роте, которая вмиг окружила его,—сегодня в ночь вам предстоит работа. Правительство смотрит на вас, как на оплот порядка и законности. Оно верит, что вы беспрекословно исполните его предначертания, всегда стремящиеся ко благу и славе родины. Я хочу верить, что беззастенчивая пропаганда кучки разбойников, именующих себя центральным комитетом, не имеет влияния на ваши сердца истинных патристов. По-

ложите предел наглым выходкам бунтарей и революционеров, и тогда вы вернетесь к своим домам с сознанием исполненного долга.

Лейтенант кончил свою речь и подошел к Дезире.

— Все ли в порядке здесь?—спросил он тихо.

— Все в порядке.

— Смотри, следи зорко за всеми; наступает решительный момент. Правительство решило раз навсегда покончить с язвой революции. Истинные патристы нужны нам больше, чем когда-либо.

По уходе лейтенанта в казарме на миг водворилась тишина. Затем разговоры мало-помалу возобновились. Какая работа? Какой поход предстояло еще совершить среди ночи в Париже, уже заключившим мир с врагом? Этот вопрос задавал себе почти всякий, ища его разрешения в речи лейтенанта. Дезире, под обаянием своего героя, еще раз дал себе клятву выполнить до конца то, что он считал своим долгом, и мысль его непрерывно обращалась к тому моменту, когда лейтенант д'Ожэ нес его, раненого, прочь от опасности прусского расстрела.

Едва первые лучи солнца позолотили низкие окна казарм, все были уже на ногах. Маленький офицер виконт де-Монтрейль, командующий отрядом, торопил людей, в его движениях, отрывистых и бестолковых, чувствовались неуверенность и беспокойство.

— И какого чорта поднимают нас в этакую рань,—ворчал сосед Дезире по койке, давно уже недовольный

всеми порядками Каварок.—Не терпится нашему начальству воевать с кем-нибудь; покончили с пруссаками, теперь принялись за своих.

Монтрейль отвернулся, притворяясь, что он не слышит замечания Каварок, но вскоре в толпе стали раздаваться еще голоса.

— Что еще за преступников они там нашли, национальные гвардейцы нам не враги.

— Мы не хотим воевать со своими!

— Тише там, в рядах,—крикнул Монтрейль, стараясь придать твердости своему голосу, который, он чувствовал это сам, звучит нерешительно. Солдаты неохотно умолкли, заканчивая приготовления к отправке.

Зубы Дезире стучали от озноба, когда отряд выступил на улицу при бледном свете весенней зари. Этот отряд, шедший, по словам д'Ожэ, восстанавливать порядок и законность, облеченный доверием народного правительства, имел вид жалких заговорщиков, изнемогающих от сознания своей низости и избравших для своего темного дела такое время, когда вокруг не было докучных свидетелей.

Город спал, на улицах никого не было, кроме хозяек, которые еще с вечера заняли очередь у продуктовых лавок и теперь спали, сидя на тротуаре и склонив головы на свои корзины. Вооруженный отряд шел молча, как бы по общему уговору стараясь делать как можно меньше шуму. Несмотря на свое

волнение, Дезире обратил внимание на мертвенную бледность, покрывавшую лицо капитана Монтрейль. Такие же лица были и у солдат. Была ли тому причиной бессонная ночь и сероватый отблеск зари или тревога, владевшая всеми, но все они были похожи на мертвецов, идущих на бой с живыми.

Вдали, на высотах Монмартра, пушки национальной гвардии дремали под охраной немногих часовых.

ГЛАВА XI

18-ое марта 1871 года

Мари, глаза которой потеряли за последнее время свой веселый блеск, и чей голос уже не распевал, как бывало, веселых песен, сидела за шитьем у своего окна. Внезапно раздался стук в дверь.

— Кто там?

— Это я,—Оливье.

Он вошел, тяжело дыша. Лицо его сияло.

— Что случилось?

— Войска перешли на сторону народа!

— Дерутся?

— Нет, но Париж во власти Ц.К. Говорят, что вчера на военном совете решено было отобрать пушки у Национальной гвардии. Регулярная застала часовых

врасплах и могла бы легко выполнить свою задачу, но народ, а главное женщины, подняли тревогу. Часть солдат перешла на нашу сторону. Два генерала убиты сегодня утром. Один из них приказал стрелять в толпу; солдаты и национальные гвардейцы оттащили его к стене и расстреляли.

Мари положила руку на свое бьющееся сердце, глаза ее расширились.

— Дезире?—тихо сказала она.

— Я уверен, что он в числе перешедших на нашу сторону. Я бы хотел увидеть его сейчас, чтобы разделить с ними общую радость.—Мари, я чувствую, я уверен, что народ на этот раз будет победителем.— Пойдем на улицу!..

— Я пойду искать его,—сказала Мари, торопливо накидывая на себя свою легкую кофточку.—В такой день, как сегодня, мы должны быть вместе.

Париж был во власти Ц.К. Переворот произошел так неожиданно, что победители, также, как и побежденные, чувствовали растерянность и удивление. И в то время, как парижский пролетариат, впервые ставший у власти, нащупывал почву под своими еще неокрепшими ногами, глава контр-революции Тьер метался, спасая остатки своей власти. Взрыв, старательно им вызываемый, превзошел его ожидания и грозил разрушить его хитросплетенные планы. Правительство успело покинуть Париж, а армия, охва-

ченная колебаниями и сомнениями, армия, часть которой уже перешла на сторону народа, а другая ждала только толчка, чтобы последовать ее примеру,— получила приказ собраться на левый берег Сены.

На бульваре Сен-Мартэн толпа народа остановила солдат. Их не пускали дальше, раздавались голоса, требующие, чтобы они сдали оружие. Капрал одной из рот, тупоголовый бретонец Мартэн, отвечал на улюлюкание толпы с бестолковым упрямством:

— Оставьте меня в покое. Мне приказано отправляться на левый берег и я должен слушаться.

В толпе раздавались угрозы:

— Предатели, враги народа, холопы Бонапарта. Разоружить их, убить вместе с генералами, которые продали нас пруссакам. Долой героев Седана!

Дезире, стиснутый товарищами по роте, обезумевший от всего виденного в течение дня, чувствовал, что холодный пот проступает у него на лбу под этим градом оскорблений, но ему казалось, что именно благодаря им его уход из Парижа делался заранее предрешенным. Внезапно раздался возглас удивления, из толпы вышел Оливье и братски протянул ему руку.

— Как, это ты? А я искал тебя утром, ведь я так давно потерял тебя из виду...

Казалось, Оливье забыл обо всех бывших между ними разногласиях, и теперь его оживленные, горевшие восторгом глаза ласково смотрели на Дезире.

— Мари также ищет тебя!

Этот ласковый голос, среди оскорблений и угроз, вызвал слезы радости на глаза Дезире.

— Ах, старина, как же я рад тебя видеть; я также хотел искать тебя, но в этом проклятом городе...

Ропот толпы опять прервал разговор. Оливье обернулся.

— Граждане, дайте же мне поговорить с этим человеком; он хороший малый, я ручаюсь за него.

Он взял обе руки своего друга и, понизив голос, сказал:

— Ты был там сегодня утром?

Страдание изобразилось на лице Дезире; он кивнул головой.

— Ты остаешься с нами, не правда ли?—продолжал Оливье.

— С вами, могу ли я?

— Ах чорт возьми,—воскликнул Оливье, сразу теряя самообладание,—неужели до сих пор не проявилась твоя темная голова. Тебе еще мало всех подлостей и предательств! Теперь мы, народ, будем хозяевами, мы отметем бессильных и предателей, мы обезоружим тех, кто мешает нам работать. Если ты шел на войну с пруссаками, почему же теперь тебя пугает война против ростовщиков, лжецов и бездельников?

Лицо Дезире затуманилось; бездна, отделявшая его от Оливье и Мари, бездна, через которую он не

мог перешагнуть, в этот миг открывалась перед ним шире, чем когда-либо. Нет, он не мог быть с ними. Он не мог переломить своей натуры раба, привыкшего дремать в неведении тупой покорности. Гнев за все муки раздвоенности, за неуверенность и колебания, которые поселила в нем любовь к Мари и дружба с Оливье, вдруг поднялся со дна его души.

— Нет, я не останусь, — запальчиво воскликнул он,—для этого дела я не могу быть с вами. Мой лейтенант приказал мне идти в Вожирар, и я пойду туда. Пусть гром разразится надо мной, а я все-таки исполню приказание. Пора положить конец всему этому. Ваша республика хочет войны—так долой республику. Ты хочешь, чтобы я бесчинствовал вместе с врагами бога, собственности и порядка? Никогда! Опомнись, Оливье, можешь ли ты требовать от меня этого?

Но Оливье жестом, исполненным возмущенного презрения, вырвал свою руку из его руки, и на мгновение они стояли молча лицом к лицу: Оливье весь во власти революционного энтузиазма, Дезире—раздавленный бременем векового рабства и мелких идеалов собственника и невежды. Однако, они были братья, и связь между ними, казалось, была неразрывна; но внезапно напор толпы раз'единил их, и оба, унесенные людским потоком, успели крикнуть:

— Прощай, Дезире!

— Прощай, Оливье!

ГЛАВА XII

В Версале

В течение десяти дней, как притаившиеся хищники, готовые к прыжку, бездействовали два врага: армия Тьера, выведенная в Версаль, и победоносный парижский пролетариат, впервые держащий в своих еще неокрепших руках свободу и власть. Геройский передовой отряд, обреченный историей быть одной из величайших жертв за свободу — рабочие Парижа, опьяненные первой победой, искали вождей среди своих неорганизованных еще масс. Победители делали первые робкие шаги по пути нового строительства, а, между тем, в Версале не дремали, и опытный, лукавый Тьер, взявший на себя роль главного палача народа и свободы, неутомимо работал над подавлением ненавидимой им революции.

Когда войска, выведенные из Парижа, раскинулись лагерем в Версале и его окрестностях, они представляли из себя печальное зрелище; истомленные недавней еще осадой, плохо обмундированные, потерявшие всякое доверие к начальникам солдаты каждую минуту были готовы к возмущению, и любое неосторожное слово могло зажечь пожар между ними. Многие

сожалели о том, что покинули Париж, о котором доходили заглушенные, разноречивые слухи.

— Надо было поддержать товарищей,—говорили солдаты.

Офицеры, испуганные таким настроением, первое время не решались даже вступать в споры, предоставляя армию самой себе.

Но вскоре все изменилось; консервативная провинция слала свои войска на усмирение строптивой столицы, пруссаки поддерживали правительство и из прусского заключения волна военнопленных потекла на поддержку Версала. Буржуазия ликовала.

— Это горсточка разбойников, с которой мы быстро сумеем справиться,—говорили они о коммунарах. Ложь, клевета и брань сыпались на отрезанных от всего мира героев, которые, заключенные в стенах Парижа, не могли быть услышаны даже в провинциях Франции. Версальская армия почувствовала на себе вновь гнет железной руки, в то время как пропаганда делала из недавних еще друзей коммунаров их яростных врагов.

— Париж один задерживает вас вдали от родины,—говорили офицеры солдатам.—Вся Франция, вся Европа весь мир против них, и борьба этих безумцев обчуждена на неудачу. Национальное собрание, избранное всем народом, клеймит позором неистовый Париж предлагая лишить его звания столицы. Те дорога родина, кто любит порядок, кто же

хранить неприкосновенным свой дом и свою семью, должны сделать над собой героическое усилие и раздавить нарушителей порядка.

Дезире страстно отдался своей вере версальскому правительству; воспоминания о Мари и Оливье, о сражениях на улице Кордери—он все хотел забыть, считая свою близость с коммунарами преступным увлечением неопытной юности. Д'Ожэ, сделавший из него покорного раба и исполнителя всех своих приказаний, пользовался Дезире не только как слугой, но и как бессознательным орудием слезки и шпионства. Это было тем более легко, что ясные голубые глаза Дезире, его врожденная доброта и мягкость располагала к нему всех, с кем он встречался. Дезире был любим всеми товарищами, и в этой дружбе он искал утешения от того чувства к Мари, которое, вопреки доводам рассудка, он не мог подавить в себе. Однако, настоящего друга он не мог найти среди новых товарищей, и порой чувствовал себя одиноким. Тем сильнее была его радость, когда, однажды, в конце марта он столкнулся на улице Версаля лицом к лицу с Христианом Форжа. Изумленное восклицание вырвалось у обоих:

— Ты здесь? Каким образом?

— Я думал, что тебя расстреляли пруссаки,—сказал Христиан.

— А я думал, что ты все еще в Германии.

— Как я рад, что встретил, наконец, своего человека,—продолжал Христиан;—все так изменилось

на родине, пока мы были в плену, что поневоле чувствуешь себя каким-то потерянным.

Они обнялись.

— Я часто вспоминал тебя, лагерь под Седаном, ковригу хлеба, которую ты мне принес и которая спасла мне жизнь.

Христиан махнул рукой.

— Стоит ли вспоминать о таких пустяках. Расскажи мне лучше, как ты бежал из плена?

Дезире рассказал ему в коротких словах свои приключения в лесу под Седаном.

— Но почему ты здесь, в Версале, как ты попал в армию Тьера?

Дезире запнулся. Он чувствовал, что полная откровенность с Христианом была для него невозможна.

— Я вышел из Парижа вместе с остальными полками, получившими приказ перейти на левый берег.

— Ты разве был в Париже?—воскликнул Христиан.

— Да, в течение всей осады.

Христиан замолчал и обернулся в ту сторону, где стоял, как неприступная крепость, бессмертный город.

— Вот как,—сказал он после минутного раздумья,—так ты был в Париже!

Затем он взял Дезире под руку и пошел с ним вдоль улицы, более уже не говоря о текущих событиях.

Дезире был слишком приучен лейтенантом к скрытности для того, чтобы быть откровенным, хотя бы и с лучшим другом. Презрительный жест Оливье, при их последней встрече, был ему слишком памятен; Христиан когда-то также был революционером, быть может, и теперь его симпатии на стороне коммунаров.

Так лучше было свои мысли и чувства держать при себе. Христиан же был все таким же, каким его знал Дезире. Молчаливый, замкнутый в себе, с печатью страдания и горечи на лице.

Прусский плен только обострил все эти черты и придал Христиану облик мученика.

Несмотря на взаимную скрытность, их товарищеские отношения быстро восстановились, и Христиан вновь начал проявлять к Дезире ту заботливость и внимание, которыми была так богата его великодушная и мягкая натура.

ГЛАВА XIII

П р е д а т е л ь

Прошел месяц. Теплое весеннее солнце заливало светом живописные окрестности Версаля. Жизнь в природе была ключом, и прекрасная картина зацветающих лугов манила к отдыху и миру. Но по-преж-

нему тишину внезапно разрывал удар, от которого содрогались все окружающие предметы, дым поднимался со стороны Монтрету. В тишине слышался звук, подобный шуму колес по каменистой дороге, и снаряд со свистом летел за линию укреплений. Война продолжалась. Париж, истекающий кровью, шел к смерти с энтузиазмом истинных героев. Неравенство борьбы, неорганизованность пролетариата, отсутствие истинных вождей ни для кого не были тайной. И, однако, почти все рабочие Парижа облачались в синие шаровары с красной обшивкой и в традиционные кепи. Всюду—на бульварах, на улицах—толпа гвардейцев. Их лозунг: сражаться до конца, сражаться на улице, за баррикадами, взрывать дома, весь город, если это окажется нужным! Истомленные голодом, тревогой, болезнями гвардейцы, однако, представляли из себя бодрящую душу картину. В Париже, залитом весенним солнцем, в Париже, приговоренном к смерти, жил истинный энтузиазм и готовность к жертве.

В Версале, вперемежку с галунами офицеров французской армии, мелькали серые шинели пруссаков. Во всеоружии хорошо организованной армии, с верной опорой в лице недавних еще врагов, версальцы готовились раздавить все еще боровшийся Париж.

В одно чудесное апрельское утро весь лагерь под Версалем был залит солнечными лучами. Где-то вдали раздавался четкий барабанный бой. Батареи, казалось, еще дремали и только редкие выстрелы на-

рушали тишину. Картина казалась радостной и спокойной.

Дезире Дево, потягиваясь, вышел из палатки. За последний месяц он сильно изменился. В его прежде полудетском еще лице появилось выражение скрытности и настороженности. Его былая искренность, уступила место искусству владеть собой. Серебряная солдатская медаль, которую он получил по представлению лейтенанта д'Ожэ, болталась у него на груди.

Трубач протрубил раздачу, и толпа солдат потянулась туда, где дымились походные кухни и маркиранты раздавали кипяток и рацион хлеба. Дезире с котелком в руках направлялся туда. Христиан Форжа, служивший с ним в одном полку, остановил его на полпути.

— Слушай, Дево, сейчас же после раздачи иди туда в лесок за лагерем. Нас соберется несколько человек потолковать о важном деле. Мне хотелось бы, чтобы ты был с нами.

— В чем дело?—спросил Дезире, которого сразу встревожил серьезный и взволнованный вид Христиана.

— А вот узнаешь.

Как только кончилась раздача, в лесок за лагерем стали собираться солдаты разных полков и частей. Их было немного, всего человек пятнадцать или двадцать, которые почти все были знакомы Дезире, как близкие друзья Христиана. В лесу было тихо, и сквозь молодую листву солнце горячими лучами па-

дало на низкую траву. Маленькая группа солдат тесным кольцом окружила Христиана.

— Товарищи,—начал он тихим голосом,—времени у нас немного для разговоров; каждую минуту нас могут хватить и разогнать наше собрание. Офицеры, это известно вам всем, следят за нами. Я буду краток. Всех из вас, кто пришел сюда на мой зов, я знаю, как самого себя. Недаром же мы пережили вместе все ужасы войны. Вы пришли сюда с полным доверием ко мне, и с таким же доверием и я буду говорить с вами. Многие из вас знали меня еще в начале войны и помнят, что я говорил тогда. Если на мне надет этот мундир, если я нахожусь в войсках Тьера, это еще не значит, что я отказался от своих прежних мыслей. Нет, товарищи, я служу здесь только в надежде отсюда протянуть руку помощи Парижу и здесь работать в пользу Коммуны. Париж умирает с голоду, он предан со всех сторон, нет такой подлой клеветы, которую не повторяли бы с восторгом его враги. Провинция, все города Франции, весь мир против него. Неужели же и мы пойдем против наших братьев, умирающих за величайшее дело свободы?

Ропот, как дуновение ветра, прошел среди собравшихся. Рядом с Дезире капрал 4-ой роты сжал кулаки, и глаза его заблестели. Христиан нашел отклик на свои слова.

— Кто ведет нас на Париж? — продолжал Христиан,—те, кто продали Францию, те, кто позорно

бежали перед штыками пруссаков и нашли в себе силу сражаться только тогда, когда их врагами стали свои же, французские рабочие. Наши начальники расстреливают пленных, убийца Тьер издает бесчеловечные приказы и в этом деле они хотят замарать и наши рабочие руки.

— Форжа прав,—сказал вдруг капрал, выступая вперед,—драться заодно с теми, кто продал Францию—позор!

— Мы не хотим быть рабами Тьера!

— Мы должны помочь Парижу,—тихо сказал молодой солдат, стоящий недалеко от Дезира.

— Тише, товарищи,—сказал Христиан, жестом собирая всех в более тесную группу,—об этом-то я и хотел говорить с вами. Правда, нас немного, но все же кое-что мы можем сделать, если не будем вести себя, как трусы.

— Говори, говори,—раздались голоса,—среди нас нет предателей.

— Что надо делать? Мы на все готовы!

— Во-первых, надо делать то, что делаю я сейчас: пусть каждый из вас в своем полку, в своей роте ищет тех, кто думает заодно с нами. Чем меньше врагов у Коммуны, тем она сильнее. Надо торопиться разжечь недовольство среди войск, объяснить им, рассказать против кого они сражаются, и если нам здесь удастся устроить восстание, если отсюда мы протянем руку помощи через Сену на-

шим друзьям, то еще неизвестно, на чьей стороне будет победа.

— Верно, верно, Форжа прав! Долой офицерство, мы все за Коммуну!

— С сегодняшнего дня,—продолжал Христиан, понижая голос почти до шопота,—пусть каждый из вас помнит о нашем деле. Не теряйте времени, каждая минута дорога. Связь с повстанцами мне уже удалось установить. Пока еще рано говорить каким образом. Через три дня мы снова соберемся здесь, пусть каждый из вас приведет с собой тех, за кого он ручается.

Слушая эти речи, Дезире чувствовал, что у него мутится в голове. Как, восстание среди войск, призванных восстановить порядок,—восстание среди тех, на кого вся Франция взирает, как на освободителей от ужасов гражданской войны? Проповедь ненависти к тем героям, лучшим образцом которых был столь любимый им начальник? И его Христиан звал за собой, он был здесь, в этом лесу, среди заговорщиков?

Как бы отвечая на его мысль, Христиан продолжал:

— Через несколько дней, когда восстание будет подготовлено, мы в одно прекрасное утро обезоружим своих начальников, выкинем красный флаг над лагерем и поседем панику в Версале, где уже, кажется, делят шкуру неубитого еще медведя. Пламя восстания, я я в этом уверен, перекинется на провинцию. Горе

тогда тем, кто вел одураченных солдат на приступ столицы угнетенных масс.

Христиан не успел договорить, как со стороны опушки, где стоял выставленный им на всякий случай часовой, раздался условный свист.

— Надо расходиться, товарищи, — сказал Христиан, — будьте на-чеку: каждое неосторожное слово может погубить все дело.

С этими словами он кивнул головой товарищам и быстрыми шагами стал удаляться боковой дорогой. Участники заговора быстро разошлись.

Дезире, охваченный волнением, во власти самых разноречивых чувств, в свою очередь направился в сторону лагеря. Но не успел он сделать и тридцати шагов от места сборища, как чья-то рука тяжело легла ему на плечо. С надвинутой на лоб фуражкой, с сигарой в зубах перед ним стоял лейтенант д'Ожэ. При виде его мелкая дрожь, как судорога, пробежала по лицу Дезире, но, преодолевая усилием воли свое волнение, он взглянул на лейтенанта. Острые глаза офицера, как две иглы, вонзились в глаза Дезире.

— Дево, — сказал он отрывисто, — ты пойдешь за мной, — и, повернувшись на каблуках, он зашагал в сторону лагеря.

Лейтенант д'Ожэ занимал небольшой павильон, служивший некогда украшением парка. Он состоял всего из одной маленькой комнатки, в которой находилась походная кровать лейтенанта, деревянный стол

и стул. На столе в беспорядке валялись газеты вперемежку с табаком и два-три скомканных письма; на подоконнике опорожненные бутылки и стаканы свидетельствовали о недавней пирушке.

Лейтенант скинул фуражку и грузно сел на кровать, которая скрипнула под тяжестью его тела. Дезире остановился в дверях.

Измена! — сказал лейтенант коротко.

Дезире побледнел.

— Я вас не понимаю, — сказал он.

— Я хочу знать имена заговорщиков.

Дезире молчал. Лейтенант понял, что повел дело слишком круто и решил исправить свою ошибку.

— Я знаю, — сказал он, — что среди войск зреет идея заговора; я знаю это наверное; несколько человек хотят подготовить восстание в тылу армии и тем затянуть надолго желанный всеми мир. Если их план удастся — Франция погибла.

Дезире молчал.

— Я уже несколько дней назад получил сведения об этом, но имена зачинщиков мне неизвестны. Известны ли они тебе, Дево?

Дезире не произнес ни слова.

— Я видел тебя сейчас в лесу с группой солдат, которая разбежалась при моем появлении. Я уверен, что это были заговорщики, не так ли?

Опять то же молчание. Лейтенант встал и подошел к Дезире.

— Слушай, Дево,—сказал он,—знаешь ли ты, что это значит? Если в Версале вспыхнет восстание, если оно перекинется дальше, Париж будет победителем. Гнусные революционные идеи безудержно распространятся по всей Франции. Коммунары будут взрывать ваши дома, отнимать у вас землю; они разрушат вашу семью, опрокинут алтари, попрут ногами идею собственности и порядка.

Дезире опустил голову.

— Ты боишься доноса? Но ведь пойми, что только доносом ты можешь спасти Францию. Если бы дом твой вспыхнул среди ночи, разве ты бы не стал бить в набат, призывая помощь; если бы безумец занес руку над головой твоей матери, разве бы ты не оставил его, чтобы сохранить ее жизнь? Ты не сомневался бы в том, что велит тебе твой долг! А теперь, когда гибель угрожает не только твоему дому, но всей нашей возлюбленной родине, когда рука безумца занесена над головой нашей несчастной, истекающей кровью страны, ты сомневаешься и колеблешься?

— Что сделают с заговорщиками?—спросил охрипшим голосом Дезире.

— Что с ними сделают? Во-первых, их постараются обратить на путь истинный и объяснят им все безумие и преступность их замысла; если они откажутся, их после пятидневного карцера вернут на прежнее место; если же они будут упорствовать в своем

заблуждении, их лишат звания солдата и на время войны вышлют из окрестностей Парижа.

— И больше ничего?

— Ничего.

Дезире поднял глаза на лейтенанта и с минуту напряженно смотрел на него.

— Клянись мне в этом,—с трудом произнес он.

Улыбка скользнула по лицу лейтенанта.

— Клянусь тебе,—сказал он,—если тебя это может успокоить.

— Главного заговорщика зовут Христиан Форжа,—сказал Дезире.

ГЛАВА XIV

Через труп товарища

— Наш заговор раскрыт. Форжа арестован и с ним еще человек пять.

Это были первые слова, которые Дезире услышал на другое утро, как только он успел выйти из палатки. Взволнованные группы солдат собирались там и тут, быстро разгоняемые офицерами.

— Бедняга Форжа!—сказал кто-то рядом с Дезире,—наказание будет суровое. Не иначе, как ка-торга.

— Каторга!—горько рассмеялся другой.—За кого ты принимаешь наших генералов? Завтра к утру Форжа не будет в живых.

Дезире вздрогнул.

— Ты думаешь, что Форжа...—начал он.

— Будет расстрелян! А как ты-то полагаешь, простофиля?

В полдень в приказе было объявлено: лейтенант д'Ожэ произведен в полковники. Дезире ушел в свою палатку и лег на солому, закрывшись шинелью. Ему казалось, что все плывет под ним. Он чувствовал себя, как тяжело больной; мысли обрывками носились у него в мозгу, и сознание отказывалось принять совершившееся.

Его охватил озноб, и ему казалось, что ему не-удержимо хочется спать. Вдруг, со страшной ясностью, он понял всю гнусность своего поступка. Он сел на койке и широко открытыми глазами глядел перед собой.

— Предатель,—шепнул он,—я—предатель.

В течение двадцати четырех часов разыгралась страшная трагедия, которая, как кошмар, давила грудь всех ее участников и свидетелей. В четыре часа произошел военный суд, который поражал своей жестокой простотой. В пустом сарае стоял стол, вокруг которого на пяти соломенных стульях заседали судьи. Перед ними—связанные заговорщики под стражей. Один из судей, капитан, спокойно чертил что-то карандашом, другой скрывал неудержимый зевок, лейтенант

д'Оже торопил свидетелей, как бы желая поскорее отделаться. Один старик, полковник Перави, строго глядел из-под своих седых бровей, видимо, переживая тяжелые минуты.

Лейтенант, теперь уже полковник д'Ожэ, вызвал Дезире, как свидетеля. Под его змеиным взглядом Дезире, как в тумане, повторял свои показания. А Христиан? Лицо его, как бы сведенное судорогой, было странно-землисто-го цвета, и большие глаза то и дело останавливались на Дезире. Что говорили эти глаза,—было трудно разобрано. Были в них и гнев, и разочарование, и возмущение молодой жизни, и страх смерти и борьбы с охватившим душу отчаянием.

Судьи удалились. Вокруг сарая рота Христиана ожидала приговора в молчаливом ужасе. Дезире видел, как при его приближении от него торопливо отходили. Он был, как зачумленный.

Совещание судей было кратко. Полковник Перави выдвинул первым со строгим выражением лица.

— Ну, что же?—спросил сержант нетвердым голосом.

— Смерть!

Дыхание ужаса пронеслось над толпой. Из сарая вышел полковник д'Ожэ и, не глядя ни на кого, быстро удалился. При виде его Дезире покачнулся; ему хотелось броситься за ним, схватить его за плечи, бросить ему в лицо все то, что клокотало в его душе, растоптать, унижить. Но тяжелое бремя, как могиль-

ный камень, придавило его к земле. Он стоял совершенно одиноко в толпе, под немymi взглядами товарищей.

Наступила страшная ночь. Дезире знал, что на утро казнь. Сидя на соломе, он вперял взор в полотно палатки, колеблемое ветром. Ночь была черна. Для себя он жаждал зари, желая одновременно, чтобы эта ночь никогда не кончалась для Христиана. А полковник д'Ожэ? Вероятно, эту ночь он спал так же спокойно, как и всегда. Голос его не дрогнул, когда он предавал заговорщиков. Мысль о том, что он обманул Дезире, не тревожила его совести. Он не искал для себя оправдания, оно было для него заранее готово в виде избитой фразы: «Во имя родины, порядка и цивилизации...»

Заря застала Дезире вне палатки. Солнце всходило, но ни единый луч не пронзил мрака его внутреннего «я». Весь он был отчаяние и безнадежность. Он видел, как вставали и одевались вокруг него мрачные, неразговорчивые люди. Почти все избегали его взгляда. Многие были бледны; эта ночь была мучительной не только для Дезире. Медлительность одевания и утреннего завтрака показались ему новой пыткой. Его уже охватило нетерпение; ему хотелось, чтобы страшное дело было позади.

Кто-то принес известие о том, что первый батальон должен был выполнить приговор. Под звук труб стали приходить в движение выстроившиеся роты. Для

того, чтобы придать наказанию внушительности, несколько полков должны были присутствовать при казни. Позади освещенной утренним теплым солнцем фермы, во дворе которой резвились дети, войска выстроились в каре. Дезире очутился в дальнем углу, откуда ему видна была в середине каре группа офицеров, окружающих генерала верхом. Рядом с ними в линию стояли двенадцать человек, назначенных быть исполнителями приговора. Внезапно на дороге, ведущей из лагеря, показалась пыль и раздался шум колес. На телеге, которую везла понурая серая лошадка, видно было несколько человек. Среди них был арестант, окруженный стражей. Он тяжело спрыгнул на землю и пошел, с трудом передвигая связанные ноги. Дезире стоял, как скованный, и не мог оторвать от него глаз. Как и во время суда, глаза Христиана были спокойны, но странная судорога, похожая на улыбку, то и дело пробегала по его лицу. Вдруг глаза их встретились. Дезире почувствовал, что колени его задрожали; ему показалось, что глаза Христиана наполнились холодной ненавистью. Опять подобие улыбки пробежало по его губам, и он отвернулся. Священник и врач появились в центре каре. Возвышаясь над всеми, был виден полковник Перави на лошади. Внезапно он поднял саблю. Тысячи ружей блеснули на солнце яркостью стали, и какой-то далекий холодный голос прокричал команду. Раздалась мрачная барабанная дробь, вслед за которой наступило глубокое молчание. Де-

В ночь с 14-го на 15-ое мая 4-ый корпус, тот самый, которому было суждено 21-го мая первому войти в Париж через ворота Сен-Клу, под защитой батареи Монтрету продвинулся к самому концу парка и находился в пятидесяти шагах от моста через Сену. Дезире Дево, которого вскоре после расстрела Христиана перевели в 4-ый корпус, стоял на часах на опушке парка, довольно далеко от лагеря. Он ходил взад и вперед среди деревьев и глядел на Париж, вид на который целиком раскрывался перед ним. Последний месяц изменил его больше, чем все, что ему пришлось пережить за время осады. Где был тот неопытный юноша, который десять месяцев тому назад впервые был выброшен в водоворот жизни и шел на войну, доверчиво отдаваясь ходу событий? Правда, и сейчас он был солдатом правительства, которое собиралось торжествовать свою позорную победу над величайшей революцией, но каким тяжким позором ложилось на него это сознание, каким непосильным бременем было для него существование, омраченное кровавым воспоминанием предательства.

В глубокой темноте весенней ночи он думал о пережитом. Пушечные выстрелы непрерывно нарушали тишину ночи. Соседние батареи стреляли ощупью, надеясь сеять панику среди врагов. Эти звуки отзывались болью в сердце Дезире. Снаряды со зловещим свистом проносились над его головой. В эту трагическую ночь ему казалось, что редкие выстрелы артил-

леристов Коммуны были голосами Революции и Свободы, оспаривающими свои права у Капитала и Деспотизма. Теперь, наконец, для него стала понятной их вековая непримиримая борьба. Как кровавые образы, носились перед ним лица Оливье и Мари и с вечным упреком возникало воспоминание об убитом друге, об его последнем взгляде, о странной улыбке, искажившей предсмертной судорогой его черты.

Воздух был так прозрачен, что молодые листья деревьев четко вырисовывались в темноте. Благодаря освещению окружающие его предметы принимали странную выпуклость. На первом плане выделялась Сена, мрачная и темная, лишь изредка загоравшаяся серебряным лучем, когда луна отражалась в ее зыбкой поверхности или летящий снаряд чертил на ней красноватый след. Дальше видна была темная масса Булонского леса. Еще дальше расстилался Париж, над которым стояло желтоватое зарево. Дезире погрузился в созерцание огромного города, дремлющего в тишине весенней ночи. Сердце его болезненно сжалось при мысли о том, что пройдет еще два, три дня и ему придется идти на приступ этой „столицы угнетенных масс“, как называл Христиан Париж. И кто поведет его? Начальники, которых он мог только презирать или ненавидеть. Он вспомнил их лица, их жесты и с трудом скрываемое презрение к солдатам, боязливую ненависть к Коммуне. А полковник д'Оже, палач Христиана, тот, из рук которого он получил позорную награду,—как он не-

навидел его! И, однако, он молчал. Раб, раб! Рабом дисциплины, рабом предрассудков оставался он по-прежнему. Друг Оливье и возлюбленный Мари, он сделался предателем, он сделался солдатом господина Тьера и врагом Коммуны.

Внезапно Дезире почудились всплески воды со стороны Сены. Он стал прислушиваться: действительно, казалось кто-то плыл в темноте. Инстинктивно, по глубоко вкоренившейся привычке, он вскинул ружье, и обычное:—Кто идет?—раздалось в ночи.

Чья-то фигура стояла уже на берегу, отряхивая с одежды брызги.

— Кто тут? Отвечайте, или я буду стрелять.

Никто не ответил, и темная фигура продолжала приближаться. Еще минута, и Дезире уже хотел спустить курок. Внезапно крик изумления вырвался из его груди.

— Мари!—воскликнул он.

— Дезире!—и девушка в струившейся одежде, с мокрыми распущенными волосами, очутилась в его объятиях.

Он не мог притти в себя от изумления. Она—здесь? Прошедшая всю линию расположения войск, рискующая ежеминутно быть расстрелянной и только благодаря необычайному случаю наткнувшаяся именно на него.

— Почему ты здесь, Мари, моя Мари?—говорил он, покрывая поцелуями ее лицо и руки. Он чувствовал

необычайную нежность к ней, к ее истощенному, прозрачно-нежному лицу и глазам, горевшим лихорадочным блеском.

Я шла к тебе, Дезире,—сказала девушка,—я думала, что найду тебя, или буду убита пулей часового. Для всех нас, сторонников Коммуны, смерть все равно неминуема, но мне хотелось взглянуть на тебя в последний раз! Я ведь люблю тебя, Дезире, так же, как и раньше. Напрасно старалась я выбросить твой образ из своего сердца. Даже тогда, как ты стал...—голос ее задрожал и оборвался, но она все-таки произнесла твердо,—когда ты стал предателем, я не могла забыть тебя.

— Так ты знаешь все?

— Христиан Форжа установил связь с нами, многие из нас надеялись на его помощь. Смерть его была для нас тяжелым ударом.

Дезире закрыл лицо руками. Наступило молчание. Мари стала дрожать мелкой дрожью в своей мокрой одежде. Она подняла глаза на Дезире и тихим жестом отняла его руки от лица.

— Не будем говорить о прошлом,—сказала она,—я пришла не затем, чтобы упрекать тебя. Еще день, два, неделя и мы погибли. Борьба наша безнадежна. Враги наши в тысячу раз сильнее нас, но знай, Дезире, что там (она указала на Париж) будут драться до последней минуты. Мы все умрем, но Оливье говорит, и так думаем мы все, что лучше умереть, чем жить после поражения.

— Я пойду с тобой, Мари,—вдруг сказал тихо Дезире.

Мари слабо вскрикнула.

— Я хотела сказать тебе это, Дезире, но я не смела... так все-таки душой ты с нами, ты не враг нам?

Дезире грустно покачал головой.

— Я боюсь, что „они“ не примут меня;—но затем, сделав решительный жест рукой, он прибавил:—впрочем, пускай они расстреляют меня. Они будут правы. Лучше пасть от их руки, чем входить в Париж победителем народа.

— Они примут тебя,—уверенно сказала Мари, блеснув глазами,—ты не знаешь, какие это люди, мой друг. Они все поймут и простят. Будь откровенен с ними, как с самим собой.

Решительным жестом Дезире схватил свое ружье и швырнул его далеко от себя в темнеющий кустарник, затем он скинул с головы кепи и сорвал с груди ненавистную медаль.

— Идем,—сказал он.

Но внезапно Мари пошатнулась и тяжело оперлась на его руку.

— Дезире,—шепнула она,—у тебя в мешке...—и она указала на лежащий у его ног сверток.

Дезире взглянул на мешок и все понял. Большая краюха хлеба выглядывала наружу. Мари была так голодна, что один вид хлеба вызвал в ней приступ слабости.

Мари в изнеможении села на землю, а Дезире, отрезав ей хлеб, охваченный нежным состраданием шептал слова любви и ласки. Слезы текли по его лицу, но он не вытирал их. Мари с болезненной жадностью ела серый солдатский черствый хлеб.

В это время раздался со стороны лагеря отдаленный барабанный бой.

— Что это? сказала девушка.

Дезире вскочил на ноги.

— Скорее,—сказал он,—надо торопиться; через десять минут будет смена. Найдешь ли ты в себе силы еще раз совершить вплавь тот же путь?

Мари встала.

— Я подкрепилась, Дезире; кажется, никогда в жизни не ела я ничего вкусней этого хлеба. Идем.

И оба скрылись в темноте.

Часовой на мосту расхаживал взад и вперед, ожидая смены. Его чуткое ухо улавливало каждый доносившийся звук. Луна зашла, ночь делалась все темней, и мрак над Сеной был непроглядный. Какие-то тихие всплески, казалось, доносились из-под моста. Часовой остановился и стал вглядываться в темноту. Вдруг с одной из батарей прожектор выбросил дрожащий луч ярко-желтого света, который, медленно опускаясь, побежал зыбью по воде. Две темные головы пловцов ярко выделились среди света. Часовой прицелился, грянул выстрел, но всплески воды не умолкали. Прожектор потух. Дезире и Мари были уже на противоположном берегу.

ГЛАВА XVI

Бессмертие обреченных

Наскоро воздвигнутый военный барак, предназначенный для сторожевого поста, был вскоре достигнут беглецами. Гул, доносившийся оттуда, свидетельствовал о том, что он был полон людей, повидимому, горячо что-то обсуждающих. Четырехугольное отверстие, пробитое в стене, служило одновременно окном и вентилятором. Дезире поднялся на цыпочки и заглянул внутрь помещения. Человек двадцать национальных гвардейцев толпились в комнате вокруг четырехугольного стола. Шла раздача скудного ужина. Лица находившихся в комнате поражали выражением болезненного возбуждения, суровой решимости и величием страдания. Дезире не мог оторвать от них взгляда.

Перед ним были те, кого он предал и за кого хотел умереть теперь.

Один из национальных гвардейцев увидел лицо Дезире в окне и, издав изумленное восклицание, направил на него дуло револьвера. Но Мари, заметившая происходившее, кинулась к двери, распахнула ее и воскликнула:

— Да здравствует Коммуна!

— Да здравствует Коммуна! — повторил за ней Дезире.

Повстанец, взявший Дезире на прицел, опустил револьвер и подошел к Мари с протянутой рукой.

— Кто этот человек, — спросил он.

Несколько гвардейцев окружили Дезире и ввели его внутрь барака.

— Расспросите его, — сказала Мари, — он честный человек и все вам расскажет. Я его знаю.

— Подойди сюда, — сказал тот, который, судя по его нашивкам, был офицером Коммуны, — расскажи нам свое дело.

— Гражданин, — тихо сказал Дезире, — я не мог больше оставаться на стороне версальцев. Я убежал и явился к вам.

Офицер сел на скамейку, уперся на рукоятку сабли и на мгновение задумался. Его пронизательный взгляд раза два перешел с Мари на Дезире и обратно.

— Вы знаете эту девушку, — спросил он.

— Да, мы давно знакомы.

— Ваше счастье, что вы явились с ней, — сказал сквозь зубы офицер.

Затем, усевшись к столу и придвинув к себе лист бумаги и карандаш, он приступил к подробному допросу: — Знал ли кто-нибудь из товарищей Дезире о его намерении бежать? Как он прошел мимо часовых? Как переплыл он реку? Почему вошел в город

через ворота Пасси, а не Сен-Клу? Вопросы ставились кратко и так же кратки были ответы, но, по мере того, как перед повстанцами развертывалась картина бегства возлюбленных, симпатия к Дезире загоралась на всех лицах. Посыпались восклицания:

— А малый-то не трус!

— Вот так парочка!

— Молодцы ребята.

Мари также развеселилась и на мгновение была мальчишеская веселость мелькнула на ее лице, когда она, смеясь, воскликнула:

— Конечно, он хороший малый, раз я привела его к вам.

Но Дезире не чувствовал себя спокойно; здесь, в этом бараке, он не мог рассказать всей своей истории, и тяжесть невысказанного раскаяния давила его. Наконец, офицер, удовлетворенный допросом, закончил беседу.

— Я вам верю, тем более, что вас привела эта девушка, которую мы все знаем,—сказал он, указывая на Мари.—Но вам придется пойти к Рогэ. Он решит, куда можно вас направить. Вы, вероятно, знаете, кто такой Рогэ?

Дезире действительно слышал о нем от лейтенанта д'Ожэ, который при одном его имени раздражался целым потоком проклятий, говоря что Рогэ продал свою честь офицера и дворянина.

— Рогэ вы найдете на улице Сен-Доминик. Вы можете дать ему полезные сведения, но берегитесь солгать ему. Он беспощаден.

Затем после краткого молчания он обратился к повстанцам.

— Кто ответит этого человека в министерство?

— Я,—сказал один из присутствующих, черноволосый малый с острым профилем и черными глазами,—с вашего разрешения, товарищ, я пройду на улицу Севр повидать своих ребяташек.

— Хорошо, ступай,—сказал капитан.

Дезире обернулся к Мари. Она улыбнулась ему, и в ее улыбке он прочел глубокую нежность вместе с желанием влить бодрость и силу в него.

— Я пойду с тобой,—сказала она,—теперь не время надолго расставаться,—и с этими словами все трое вышли из барака.

Когда Дезире и Мари прибыли в министерство, гвардеец, стоящий на часах, сообщил им, что Рогэ здесь.

— Примет ли он меня?—спросил Дезире.

— Конечно, он всех принимает,—ответил часовой, видимо гордясь простотой обращения генерала Коммуны.

Он показал Дезире лестницу в глубине двора, и минут пять спустя тот уже находился в низкой полутемной зале, где Рогэ работал, склонившись над

бумагами. Это был человек лет сорока, на изможденном лице которого, на костлявых руках и сгорбленных плечах лежала печать великой идеи, которой он посвятил свою жизнь. Он поднял на Дезире небольшие, холодные и пронизательные глаза и сухо попросил его рассказать свое дело.

Дезире, измученный поздним раскаянием, полный презрения к себе, передавая свою трагическую повесть, беспощадно бичевал свое самолюбие. Он не думал о том, что могло ожидать его после такого признания. Быть может, тюрьма, расстрел, позор, но сладость искупления была слишком велика для того, чтобы ее могла омрачить тревога за будущее.

Рогэ слушал его молча, склонив голову на руку и опустив глаза.

— Как звали вашего друга, — спросил он, когда Дезире окончил свой рассказ.

— Христиан Форжа.

Рогэ взял карандаш и записал что-то на клочке бумаги.

— Имена героев не должны предаваться забвению, — сказал он кратко.

Наступило молчание.

— Думаете ли вы, что можете чем-нибудь заглядеть свое предательство? — сказал, наконец, Рогэ.

Дезире ниже опустил голову.

— Я достоин смерти, — сказал он тихо, но твердо.

— Здесь вы и не можете ждать иного, — сказал Рогэ. — Но вы умрете не как преступник, а вместе с нами, как наш товарищ, защищая нашу великую, свободную федерацию. Ваше раскаяние делает вас достойным этого. Если бы еще было несколько примеров, подобных вашему, наше дело могло бы подвинуться.

Рогэ закрыл лицо руками и после минутного молчания глухо продолжал:

— А, однако, все могло бы быть иначе! Мы не были подготовлены, мы не проявили энергии; если бы мы могли протянуть руку провинции, если бы прусские войска откликнулись на наш призыв! Их армия и наша армия — вместе за великое дело освобождения! Растоптать ногами капитал и деспотизм, создать социальную республику всего мира! Но провинция, прусская армия, прусские рабочие — никто не услышал нашего голоса. Париж одинок, одинок, как могила!

— Вы хотите смерти, товарищ? Я обещаю вам, что вы умрете здесь, в бессмертном городе, который добровольно приносит себя в жертву освобождения поработанных.

Рогэ протянул руку Дезире.

— Мы больше не будем говорить о вашем прошлом, — сказал он, — вашей искренности я верю безусловно. Теперь вы наш товарищ; сведения, которые вы дадите нам о версальцах, будут доказательством в вашей преданности Коммуне! В течение двадцати четырех часов вы получите назначение, до десяти ча-

сов утра вы свободны.—Рогэ должен был попытаться получить сведения о версальцах. И жестом Рогэ дал ему понять, что разговор окончен.

Оливье, одетый, лежал на койке, когда Мари ввела к нему в комнату своего друга. Он приподнялся на локте и в глубоком изумлении глядел на вошедших. Дезире остановился на пороге, ему казалось, что взгляд Оливье сковал его железными цепями.

— Ты?—произнес, наконец, Оливье,—опять в Париже, в моей каморке?

Но Мари была уже около Оливье и всей своей нежностью старалась защитить своего друга от оскорблений и упреков.

— Рогэ, сам Рогэ принял и простил его. Неужели ты один будешь к нему беспощаден?

Высокий, худой, в сидевшей на нем мешком рабочей блузе, Оливье казался Дезире воплощением холодной справедливости.

— Знаешь ли ты, наконец, теперь, чего ты хочешь,—сказал Оливье с тяжелым упреком,— быть может, тебе завтра захочется опять вернуться туда, на левый берег, под крыло генералов и господина Тьера?

— Ты можешь оскорблять меня,—сказал Дезире,— это твое право.

— Так ты на самом деле вернулся к нам? Но разве ты не знаешь, что мы все обречены на гибель,

что Париж будет могилой всех тех, кто предан Коммуне?

— Я пришел к вам затем, чтобы умереть вместе с вами.

— Помиришь же с ним, Оливье, протяни ему руку,—воскликнула Мари, по щекам которой текли слезы;—разве ты не видишь, как он измучен сознанием своего преступления?

— Еще день, два,—сказал Оливье,—и, если он говорит правду, мы пойдем вместе с ним умирать за Коммуну. В этот миг я опять назову его своим другом и протяну ему руку, но не раньше.

Наступило молчание. Дезире по-прежнему стоял на пороге, но глаза его глядели прямо на Оливье. Его упреки, казалось, смывали с него тяжесть преступления.

— Я готов ждать этой минуты,—сказал он,—и уверен в том, что она не замедлит притти. Не проси его ни о чем, Мари. Оливье прав, и я постараюсь заслужить пожатие его руки.

ГЛАВА XVII

Месть коммунара

Началась агония Коммуны. Неорганизованный, неподготовленный, лишенный военных руководителей

Не было слышно ни криков, ни громких разговоров. Кувшин с ледяной водой часто переходил из рук в руки. Начальников не было, никого, у кого бы на кепи была серебряная нашивка или кепи с золотым галуном.

Все ближе и ближе раздавались выстрелы. Снаряды, которыми версальцы обстреливали незанятые кварталы, безжалостно убивая тысячами мирное население, свистали над головами повстанцев. На ближайшей улице завязалась перестрелка. Она делалась все чаще и чаще.

— Неприятель близко,—сказал Оливье.

— Пускай придут и увидят, трусы ли мы?—ответчала Мари.

Внезапно выстрелы оборвались. Из-за угла соседней улицы выбежал шестидесятилетний старик и бросился к защитникам баррикады. Волосы его развевались, каждую минуту он спотыкался и, снова выпрямляясь, бежал, крича что-то. Оливье вышел к старику и взял его за плечо. Он остановился, глаза его блуждали, как у безумного.

— Куда вы, кого вы ищете?

Старик провел рукой по вспотевшему лбу.

— Это не политика,—сказал он, как бы рассуждая с самим собой,—это убийство. Я видел там, на улице Лафайэт, расстрел коммунаров. Генерал Галифэ—этот зверь! Нет!—воскликнул он, снова впадая в иступление, взмахивая своими длинными руками,—лучше уме-

реть, чем видеть это... Долой палачей в эполетах! Я хочу умереть вместе с вами!

Он не успел договорить. На улице отряд версальцев бежал, на ходу заряжая ружья. Грянул залп. Старик упал навзничь у самых ног Оливье, который поспешно спрятался за ограждение. Началась перестрелка. Отряд версальцев, казалось, со всех сторон был окружен врагами. Стреляли из окон домов, баррикады непрерывно отвечали на залпы пальбой. Однако, солдаты Тьера со всех улиц получали подкрепления. Они вбегали в дома, вытаскивая оттуда тех, кто был пойман с оружием в руках, или у кого физиономия казалась подозрительной. Тут же, в пылу сражения, происходила и казнь. У стен трупы лежали, как дрова: девочка десяти лет с розовой ленточкой на шее, сестра милосердия, старик, распостерший худое тело, и тут же рядом труп коммунара, который лежал с поднятой рукой, сжатым кулаком, в позе вызова и угрозы. Защитники баррикады редели с каждой минутой. Дезире, Оливье и Мари сплотились тесней. Мари заряжала ружья. Они не замечали времени; когда кто-нибудь из их товарищей падал, они только на миг оглядывались и вновь принимались за дело. Раненых приканчивали.

На город стал спускаться весенний вечер, но баррикада все еще держалась. Правда, ответные выстрелы были уже не так часты, но все же стрелять не переставали. В домах все затихло. Измученные солдаты

с ненавистью смотрели на баррикаду. Несмотря на начинающуюся ночь, на улице было светло, как днем, зарево заливало все небо красным пламенем.

— Дезире, — тихо сказала Мари, — посмотри, мы, кажется, остались втроем.

Дезире оглянулся. Действительно, товарищи лежали поверженные, только он и Оливье продолжали безнадежную борьбу. Он положил ружье на землю и протянул руки своей возлюбленной.

— Мы сейчас умрем, — сказала она.

— Мы сейчас умрем, — повторил Дезире.

Оливье подполз к ним:

— У меня больше нет патронов, — сказал он.

— У меня их осталось два, — сказал Дезире, — я поделюсь с тобой.

Мари зарядила ружья.

Тогда все трое, как бы по общему уговору, поднялись во весь рост и встали на вершине баррикады. Раздалось два последние выстрела. Оливье в развевающейся блузе громким голосом начал первые слова марсельезы. Дружный залп версальцев прервал его на первой строке. Все трое упали: Мари и Оливье убитые, Дезире — раненый.

Лейтенант д'Ожэ с небольшим отрядом подошел на подмогу офицеру, берущему приступом героическую баррикаду улицы Мадлэн.

— Ну, как, виконт, — крикнул он, — покончили вы с канальями?

— Баррикада безмолвствует, — отвечал виконт, — повидимому, путь расчищен. Я думаю, что мы безопасно можем приблизиться.

— Вперед, — скомандовал д'Ожэ.

У баррикады, из-под поваленных столов, стульев, камней, экипажей, струились ручьи крови. Впереди на улице лежали трупы Оливье и Мари: Оливье — распростертый, с открытыми глазами, неподвижно глядящими вверх, Мари, в позе убитой птицы, лежала лицом вниз.

— Баба и та полезла на баррикаду, — с презрением сказал д'Ожэ.

Солдаты стали расчищать улицу.

— Господин полковник, этот жив еще! — воскликнул один из них, нагибаясь над лежащим.

д'Ожэ оглянулся; глаза его встретились с глазами раненого. Он узнал Дезире.

Раненый в грудь, Дезире истекал кровью, но сознание не покидало его. Ослабшей рукой он нащупал револьвер в кармане: в нем, он помнил, оставался еще один заряд.

— Лейтенант, — прохрипел он.

— Дево! Так ты здесь, с ними?

— Я сейчас объясню вам. — Я умираю.

д'Ожэ хотел еще спросить что-то, но внезапно яркий свет брызнул ему в глаза, раздался выстрел, и он, мертвый, всем телом упал на умирающего Дезире. Они лежали, как бы обнявшись, но глаза умирающего с холодным торжеством глядели в лицо мертвого.

Виконт кинулся к д'Ожэ.

— К стене негодяя,—крикнул он солдатам, указывая на Дезире.

— Вы опоздали,—сказал Дезире, и голова его в судороге закинулась назад.

Небо пылало по-прежнему, но на улице Мадлэн все было тихо; героический передовой отряд закрепил кровью свое великое дело...